



ЮРИЙ КЛЕПАЛОВ

**Ещё
не отшелестели
листья...**

Юрий КЛЕПАЛОВ

ЕЩЁ
НЕ ОТШЕЛЕСТЕЛИ
ЛИСТЬЯ...

МОСКВА
2020

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
К48

Клепалов Ю.

Ещё не отшелестели листья... / Ю. Клепалов. —
Москва: ИЦ «Содействие», 2020. — 144 с.: ил.

Книга рассказов современного писателя Юрия Клепалова несомненно заинтересует большинство любителей отечественной литературы своей искренностью, оригинальностью сюжетов, художественной правдой и непосредственной естественностью. Герои его рассказов — это самые обычные люди нашего недавнего прошлого, немного наивные, безхитросные, но по-настоящему цельные и накрепко связанные своей судьбой с Отечеством. Все что им близко и дорого обязательно заинтересует тех читателей, кому также близко и дорого всё, что составляет культуру, духовность, историю и природу нашей страны.

ISBN 978-5-906296-27-6

© Текст: Клепалов Ю.М., 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин СВИНИННИКОВ.	
Хранитель русского духа в звуках и слове	4

РАССКАЗЫ, ЗАРИСОВКИ

Ещё не отшелестели и не опали листья	10
На солнечной поляночке	17
Романсик	29
Пал Антонович	42
Коля, давай!	61
Дорога	68
Электричка	82
Почтовый ящик	90
Уважение	102
Думай, матушка	109
Музыкант	112
Посидим	121
Просвирочка	123
То ли серебро	126
Экспромт на даче	128

СТАТЬИ

История одно инструмента	134
Те ли мы цветы	139

ХРАНИТЕЛЬ РУССКОГО ДУХА В ЗВУКЕ И СЛОВЕ

Как заслуженный артист России Юрий Клепалов хранит русский дух в звуке известно давно — и даже, далеко за пределами России. Об этом убедительно свидетельствует хотя бы один лишь факт — он несколько лет открывал в Японии концерт лауреатов конкурса имени П.И. Чайковского. А предшествовала этому вот такая история. Однажды у него дома раздался звонок... из посольства страны восходящего солнца. Оказывается, пять лет разыскивал его известный японский архитектор, который связан с главным концертным залом страны. Он однажды слушал балалайку Юрия Клепалова, её мощное, прямо-таки оркестровое звучание. И решил, что на открытии организованных им в Японии концертов лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проводимого в России, должен звучать инструмент, оригинальнее и глубже многих других выражающий душу России.

И вот Юрий в Японии. Предстоит не только сольное выступление на открытии, но ещё и сопровождение солиста-лауреата с его номером. А лауреат, привыкший к сопровождению рояля или скрипки, наотрез отказался петь «под балалайку». Но японцы — люди деловые. Есть приглашение, но есть и контракт, условия которого диктуют организаторы. Отказ вызывает соответствующие последствия. Петь всё-таки пришлось. А на следующий день гордый, но не утративший чувство справедливости лауреат в личном разговоре, во-первых, выразил искреннее восхищение игрой Клепалова на открытии, во-вторых, извинился перед ним «за случайное недоразумение».

В Японии и до этого, и после Юрий Михайлович бывал много раз (хотя и, вообще, объехал с концертами полмира, включая Европу, США, африканские и азиатские страны). Японцы как-то особенно выделяют русскую музыку. Может, играет роль близость восприятия красоты и одухотворенности природы, душевная тонкость наших народов и, вероятно, мелодичность песенной стихии. Ну, наконец, можно и понять изумление: всего три струны, а как много можно высказать, передать от сердца к сердцу...

Конечно, Юрий Клепалов — самородок из самых глубин народных, родился на острове Сахалин. Можно сказать, природный алмаз, но — хорошо огранённый: с 1963 по 1967 годы он учился в Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского, с 1967 по 1972 годы — в Уральской Государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (класс профессора, народного артиста России Е.Г. Блинова). В России и мире известны только два балалаечника такой классической исполнительской школы игры на балалайке и по такому масштабу божественного таланта, это — Рожков и Клепалов!

Вот как отзывается о нём А. Широков, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии им. Глинки: *«Играет он только без сопровождения и только свои сочинения, больше напоминающие импровизацию. Самобытность его бросилась в глаза при первом же знакомстве с его игрой. Это крепкий, насыщенный звук, очень динамичная и насыщенная кантилена, на редкость разнообразные штрихи и оригинальный, изменчивый метроритм. В его композициях-импровизациях всегда присутствует глубокий замысел, программность, тесная связь с жизнью и другими видами искусства. Вот лишь некоторые названия его сочинений: «Размышления о Родине», «Каслинское литьё» (под впечатлением работ мастеров чугунного литья), «Баллада о русской женщине» (по мотивам рассказа Л. Заворотчевой), «Думы об отце» (по сюжету одноимённой картины В. Волкова). Своим, скромным по техническим возможностям, инструментом Клепалову удаётся передать самые сложные художественные замыслы, нередко с привлечением звукоизобразительных средств, которыми не так уж богата балалайка. Таков колокольный перезвон в пьесе «Храм Василия Блаженного» или иллюзия рассвета в картинке «Солнце встаёт». Поразительную изобретательность музыкант проявляет в ряде полифонических сочинений, добиваясь ведения мелодии на фоне собственного же аккомпанемента. Создаётся впечатление, что звучат сразу две балалайки («Ожидание», «Солнце встаёт»). Хороши по своей изобретательности жанровые «сценки», музыка которых и свежа, и традиционна одновременно. Жаль, что таких пьес мало («Русское скерцо», «Частушка», «Барыня»).*

Своё понимание души народной изливает Юрий Клепалов, помимо большого количества сочинений для балалайки соло, в ро-

мансах и песнях. За цикл романсов на стихи великого русского писателя и поэта И.А. Бунина композитор отмечен Союзом Писателей России и Председателем СФ РФ Егором Строевым премией И.А. Бунина. Юрий Клепалов — автор музыки к спектаклю МХАТа им. Горького «Высотка». О том, как ложатся на душу народную его романсы, прекрасно сказал волшебник русского слова Герой Социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР и России, писатель Валентин Распутин: *«Булнина под балалайку? ... Да, Бунина — под балалайку. И философские, и интимные стихи его, всегда точной, филигранной отделки, чуть «застёгнутые», замкнутые в себе, на стук читателя к ним словно бы прежде изучающие, а достоин ли этот читатель общения, — бунинские стихи, «озвученные» композитором Юрием Клепаловым и в его же виртуозном сопровождении под балалайку — да как ещё звучат, как много нам говорят! Всё в них — внимание к Бунину, всё родственно и созвучно ему. Всё — Бунин, но открылённый, раскрытый, полнозвучный».*

... А мне вспоминается вечер журнала «Наш современник» в Кунцевском дворце спорта, где овацией встречали шесть тысяч зрителей и выступление Валентина Распутина, и игру Юрия Клепалова. Эти «устные выпуски» журнала русских писателей начались в 1988 году вскоре после моего прихода в редакцию первым заместителем главного редактора Сергея Васильевича Викулова. Провели мы их более двухсот по всему Советскому Союзу и, конечно, больше всего — в регионах России. Юрий Михайлович всегда был для нас дорогим гостем, и откликался искренне, бескорыстно на все наши приглашения. О, как пела Татьяна Петрова — живой голос русской души — его «Православную» на слова В. Волкова! Этот своеобразный гимн прозвучал даже на сцене Государственного Кремлёвского дворца съездов, когда при вступлении в должность первого президента России Бориса Ельцина в 1991 году ещё не были развеяны надежды на коренные перемены в жизни народа...

За творческий вклад в культуру и духовность России Юрий Михайлович Клепалов награждён и правительственными, и многими церковными и общественными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Преподобного Серафима Саровского III степени — орденом Русской Православной Церкви; благодарностью Президента России, Верховного

Главногокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путина и т.д.

Концертная его деятельность длится уже более сорока лет. Теперь выступает он вместе с сыном Евгением в дуэте «Серебряные струны» (балалайка и гитара). Евгений тоже человек уже заслуженный, отмеченный многими государственными и общественными наградами, поэт и композитор, создавший к 110-летию поэтессы Анны Ахматовой цикл романсов на её стихи. Оба — и отец, и сын — с почётом приняты в казацье офицерство, оба — действительные члены Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры. В общем, яблочко недалеко от яблони...

Русская музыка мощно и ярко явлена в творчестве Юрия Клепалова — блестящего, неповторимого мастера сольной игры на балалайке, композитора. Но, оказывается, тот же мощный русский народный дух заставляет его взяться и за писательское перо. И появляются в ряде изданий (газета «Русь державная», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век», журнал «Славяне») его статьи, рассказы, зарисовки, окрашенные и природным юмором, и глубокими раздумьями о судьбах русского народа и его культуры. Рождались они под впечатлениями от многочисленных поездок, и не только гастрольных, встреч с людьми в различных обстоятельствах. И выплёскивается не только удивление перед возможностями традиционного и, казалось бы, простенького инструмента (рассказы «Коля, давай!», «На солнечной поляночке»), но и рождаются глубокие раздумья об особенностях русского музыкального строя, философского осмысления их. Осмысления, заметим, на уровне достижений современных учёных-физиков. Те, кто знаком с учением о волновой природе жизни Вселенной, поймут, о чём речь...

Не менее важно прикосновение сердцем и душой к глубинной жизни народа. Не могу удержаться, чтобы не привести слова на сей счёт мудрой женщины, режиссёра-воина Татьяны Михайловны Лизоновой: «Художнику важно не только знать о народной жизни, но и жить одной жизнью с народом!» Это словно о Юрии Клепалове сказано...

И вот рождаются его рассказы и зарисовки с искрящимся юмором. О стариках из лесной деревушки, жаждущих оказать должное уважение заглянувшей к ним знаменитости («По телевидению по-

казывают!»), но и ждущих уважения к своей простой и нужной людям жизни; о старушках, искренне жалеющих показавшегося им большим музыканта, который на вагонной полке жестикулирует, воображая себя дирижёром оркестра, или о случайных попутчиках в электричке. Думаю, не одного меня взволнует история с фронтовиком, чудом уцелевшим в кровавой бойне войны, спасшего и себя, и раненого собрата по оружию... игрой на случайно найденной в полуразрушенной бане балалайке. Только по звуку родных песен и нашли их наши, стремительно шедшие вперёд во время наступления. И крайне заинтересует другой фронтовик, повидавший мальчишкой и белых, и красных в родной избе, ставший потом директором школы, да таким, что и через годы вспоминал его один из строптивых учеников. Заинтересует особенность русского мужика применяться к любым обстоятельствам...

По языку и стилю Юрий Клепалов близок к тем самым писателям «деревенщикам», которых поддерживал музыкой своей на вечерах «Нашего современника» (где и познакомились и сдружились мы с ним). Подчеркну пристальное его внимание к деталям, точному описанию бытовых примет, которые раскрывают вдруг важные черты характера его персонажей. Запоминается невольное сравнение взаимоотношений так называемой богемы, где и украсть у друга творческое достижение можно, несмотря на «угрызения совести» («Романсик») и милые розыгрыши людей одного душевного склада («Экспромт на даче»). Правда, проза, романтика и классика в музыке Клепалова требует чтения вдумчивого... В общем, читайте книгу Юрия Клепалова.

Валентин Свининников.

РАССКАЗЫ, ЗАРИСОВКИ





ЕЩЁ НЕ ОТШЕЛЕСТЕЛИ И НЕ ОПАЛИ ЛИСТЬЯ...

Ещё не отшелестели и не опали листья, не отхлестались ручьями осенние дожди. Ещё жара упорно сопротивлялась наступающей прохладе с запахами осенней травы. Ещё не успели дома, обласканные вечерними лучами бабьего лета, окраситься в нежно-розовый цвет, волнующий память о щемящей юности. Ещё Москва продолжала задыхаться от тяжёлого дыхания летней жары, с её скрежетом и скрипами... По одной из шумной улиц Москвы, затерявшись в пёстрой толпе, торопливо шёл молодой человек. Он завернул за угол дома, вошёл в подъезд, позвонил в квартиру. За дверью было тихо. Позвонил ещё раз, через некоторое время послышалось:

— Кто там?

— Я к Игорю Анатольевичу. Он ведь здесь живёт?

— А что собственно вам надо? — напряжённо спросили за дверью.

— Мы договорились встретиться, — стараясь говорить спокойно, ответил молодой человек.

— Его пока нет, — продолжал голос за дверью.

— Но он назначил мне встречу! — настаивал гость.

Неторопливо лязгнул замок, дверь немного приоткрылась, и через образовавшуюся щель он увидел мужчину лет сорока с одутловатым лицом.

— Сосед я, — ворчливо продолжал тот. — Сторожу его хозяйство от непрошенных гостей, ходят нынче всякие. Он у нас многолюдный... Как-никак, кинорежиссёр всё-таки, вот и топчет народ к нему тропу... Кого тут только нет, — махнул он лениво рукой. — Чего стоим? Проходи... Видно молодой ещё, стеснительный... Нет его пока, проходи на кухню.

Молодой человек присел на табуретку у небольшого стола.

— Это что у тебя? — спросил сосед, показывая на футляр в руках у молодого музыканта.

— Это... это... — не успел ответить тот, как вдруг из соседней комнаты послышался громкий крикливый голос:

— Эй, Иван, кто там пришёл?

— Не обращай внимания, это — моя жена Валька, — и тут же ворчливо ответил. — Да какой-то гость молодой, и, наверно, с подарком.

На кухню вбежала растрёпанная женщина.

— Он у меня пьяница, не слушайте его, — закричала она. — Он две реки выпил, а может, и море! Ко всем пристаёт, надоедливый, зараза. Вот к режиссёру народ порядочный ходит, и артисточки, и музыканты, так он у них, этот вселенский вымогатель, всё выпросит — дай, да и только. Паразит такой, тараканья смута... Всю мою душеньку вымотал, — и махнула рукой перед его лицом, словно подтверждая свою правоту. И матом его крыла и била.

— Говорю: «Иди, хоть что-то делай!». А он от этого «зелёного змея» отвязаться не может. Алкоголик конченный, да и только!

От такой неожиданной сцены молодой человек оторопел. Высокий потолок небольшой кухни явно действовал на соседа раздражающим своим глубоким купольным резонансом, усиливая негодование жены.

— Раньше где только он ни работал, везде хвалили, — продолжала она, — И столяром, и слесарем, и мастером на стройке. Все говорят — золотые руки. Вот несколько лет назад сделал ремонт квартиры у большого начальника, да тот, как на всемирную выставку, всех своих друзей — начальников водил. Какая там лепнина на потолках — до сих пор специалисты заглядывают, восхищаются. А как началась эта дурная перестройка, всё забросил, в пьянку с головой ушёл. Замучила она его. И что ему надо, не понимаю...

Молодой человек отключился, лишь где-то вдалеке слышались для него непонятные и трудно различимые звуки голоса хозяйки. Он думал, скоро ли придёт Игорь Анатольевич, и когда же закончится эта сцена. Мысленно прокручивал встречу с режиссёром, думал, какие планы они будут с ним строить. Женщина продолжала говорить, размахивать руками и стучала кулаком по столу. Иван неподвижно сидел, закрыв глаза, думал о своём, и терпеливо ждал, когда она выдохнется. Неожиданно хозяйка прервала свою «проповедь» и убежала в комнату. Молодой человек очнулся, когда Иван спросил:

— Ты зачем пришёл-то, и что у тебя в чемодане?

— Это не чемодан — это футляр, а там балалайка, — ответил, подвигая ближе к себе инструмент.

— Слушай, это не ты ли играл нашему режиссёру, наверно, месяца два назад? Правда, я тебя не видел, а Валька, как услышала, что через стенку кто-то играет, притащила меня — с дивана, и в коридор: «Слушай!» Я будто приклеился к двери, да так заслушался... что жена меня с трудом обратно увела... Поэтому не увидел тебя. Балалайка тихонько играла, а душу всю перевернула, родное что-то почудилось. Не могу забыть её, балалайку эту, и телевизор чёртов теперь смотреть не хочется — тошнит от него. И Валька после этой балалайки другая стала, пироги вдруг начала печь. В доме повеселее сделалось. Вспомнили молодость. Словно только что поженились... Только ненадолго это оказалось... Через неделю Валька с работы пришла, нервная, дёрганная, будто её кто-то подменил, ну я... и сорвался, конечно. Так и пошло и поехало, возьми её в кирпич, — Иван нервно достал папиросу и сильно затянулся. — Вот ежели бы балалайку каждый день слушать, то, наверно, другая жизнь была, да и наладилось бы, всё потихоньку... А ну-ка, братишка, что сидишь, достань балалайку-то, — жадным взглядом Иван вцепился в инструмент. В глазах мелькнула живая искорка, лицо посветлело. — Сыграй! — почти потребовал он. — Люблю балалайку, дед мой ещё играл, да как!.. Вот и вспомню всех...

Тихо зазвучала балалайка. С волнением следил Иван, как музыкант извлекает звуки из маленького инструмента — почти детской игрушки. Он чуть приподнялся. Весь как будто вытянулся навстречу этим звукам, облокотился на стол... Потом присел, обхватил го-

лову руками, закрыл глаза... Звуки продолжали литься, наполняя комнату. Слушатель не двигался и, казалось, не дышал, боясь прервать игру музыканта. Неожиданно дверь распахнулась, на кухню влетела жена. Она размахивала руками, громко ругаясь, и вдруг замерла на месте, замолчала, тихо села за стол...

Балалаечник продолжал играть. Звуки родного инструмента пронизывали каждый сантиметр воздуха своей неотразимой силой нежного звучания, создавая кружева, сплетённые мелодическими интонациями, согревая и украшая комнату. Лицо женщины преобразилось. Теперь оно выражало покой и умиротворение. Но вот в музыке стало нарастать напряжение, и на лице появилось волнение, беспокойство... Мелодия опять стала нежной и тихой, и лицо осветилось лаской, она нежно взглянула на мужа... Волнение окрасило её лицо молодым румянцем, солнечный луч, пробившийся через окно, заиграл на влажной щеке.

Музыкант всё играл и играл, казалось, что идёт между ними невидимый душевный разговор. Мелодия продолжала наполнять комнату новым и сильным звучанием, стены комнаты как будто раздвигались и исчезали, все объединились одной волнующей судьбой. Вдохновляясь, музыкант, начал импровизировать всё более тонкими и разнообразными оттенками чувств. Мелодия лилась, незаметно превращаясь в большую реку с множеством светлых и чистых родников, в бескрайнем пространстве русской природы. Три струны, объединившись в один аккорд, в одно звучание, словно оркестр под неистовым жестом дирижёра, держали самую высокую ноту. Напряжение стало максимальным. Казалось, что не инструмент, который наполнял мощными звуками комнату, а какая-то невидимая сила держит душу слушателей и сотрясает её... Иван сидел, обхватив голову руками, тело его дрожало. Неожиданно он встряхнул головой, как бы сбрасывая что-то. И стал отчаянно ею трясти. Глаза были закрыты, слёзы текли по щекам. В глазах жены показался испуг и сострадание. На мгновение Иван застыл, потом поднялся. Сложив руки на груди, словно перед причастием, не открывая глаз, что-то шептал...

Музыка творила чудеса. То постепенно угасала, то неожиданно взрывалась мощными аккордами под сильной рукой невидимого дирижёра. Балалаечник с инструментом как бы растворялся в зву-

ках, незримо исчезая из комнаты, в которой дышали написанные вдохновением художника прекрасные звуковые полотна... Застывшие от напряжения глаза Вали глядели на мужа. Он, повинувшись затаённой силе мелодии, сел, обхватив голову руками, тихо что-то шептал... Жена невольно повторила движение его губ, пытаясь уловить слова. Мелодия лилась нежно и ласково. Солнце своими лучами играло на лице жены, подчёркивало порозовевшие щёки, слегка сглаживая морщины. Иван закрыл ладонями глаза. Его тело напряглось, он опять задрожал, из-под ладоней стали слышны едва различимые слова. Похоже на молитву...

— Милая моя деревня, милый мой дом, милая моя речка...

Влага крупными каплями стекала по рукам. Иван глубоко вздохнул.

— Простите меня... Простите вы меня, — вытирая слёзы говорил он. — Прости меня, лес, прости меня, трава, простите вы меня, просторы родные...

Музыка стала ещё тише и пронзительнее, вымывая из сердца, словно из камня накопившуюся твёрдость.

— Простите вы меня, моя милая старенькая мама. Прости меня, отец... Простите...Простите... Простите.

Постепенно слова стали угасать в тихой мелодии музыканта... Валя широко открыла глаза, рот округлился. Она ещё не верила, только по губам мужа продолжала слышать слова: «Простите... Прости...». Лицо Ивана было залито влагой, глаза закрыты. Она никогда не видела его таким. Слёзы выступили у неё на глазах. Крепко держась за край стола, она каким-то неизвестным чувством понимала, о чём он говорит. В ней снова ожила женская нежность и любовь, затерявшаяся в лабиринте жизненных проблем и в неустроенности души, из-за которых она едва не потеряла дорогого человека. Музыка не исчезала, а летела, как бы стороной, зацепляя своими тонкими вязальными крючками всё то, что вызывает память о близком и родном. Валя приподнялась, оторвала руку от края стола и протянула её к Ивану. Ей хотелось дотронуться до него, приласкать... Неожиданно раздался стук в дверь. Музыкант резко остановил игру.

— А... вот ты где... Прошу ко мне, прости, что задержался. На Мосфильме была приёмка фильма, уйти не удалось. Так что извини,

пожалуйста...

Уже в комнате режиссёр, продолжая играть ключами, говорил:

— Дела, видишь ли, на студии. Я вот подумал о новой картине и о сценарии. Значит, это будет...

Музыкант сидел в кресле, всё ещё держа в руках балалайку, и невнимательно слушал, рассеянно разглядывая приклеенные на стене над письменным столом разноцветные бумажки.

— А ты, вообще, неплохо звучишь. Сейчас я случайно слышал на улице из окна дома. Приятно... Приятно...

Вдруг зазвонил телефон, и режиссёр переключился на него. О чём он беседовал, музыкант плохо различал. Он всё ещё находился в плену музыки.

— Ты знаешь, я тут договорился, — обратился режиссёр снова к молодому человеку, снимая записку с зеркала и, прочитав её, кисло поморщился. — Жене надо отдать деньги.

Не меня выражения на лице, стал ей срочно звонить. Музыкант снова постарался собраться с мыслями, однако смотрел на говорящего по телефону режиссёра, который яростно жестикулировал, словно через какую-то пелену. Комната превращалась в длинный пенал, и где-то далеко он смутно видел человека, говорящего, ходящего по комнате, срывающего записки то с зеркала, то со шкафа. В глубине сознания продолжала звучать музыка. Режиссёр, всё ещё размахивая руками, опять обратился к сидевшему молодому человеку:

— Я хочу, я напишу сценарий, где будет балалайка главной действующей темой, — вдруг чётко расслышал молодой человек. Его это снова вернуло к действительности. Он хотел включиться в беседу, но тут снова зазвонил телефон. Режиссёр резко схватил трубку и стал постепенно исчезать из поля зрения.

— Я ей всё отдал, всю зарплату! — кричал он в трубку. Эти слова эхом прокатились в сознании музыканта. Неожиданно он увидел себя на кухне, увидел удивлённые глаза Вальки, стол, за которым сидел Иван. Музыка, как ветер среди скал, жгла его душу, заставляя всё заново пережить с особой остротой чувства, подступила мысль: «Надо срочно выйти из этой душной комнаты, от этого суетливого кричавшего человека, с его мелкими вечными бытовыми проблемами». Молодой человек встал и незаметно выскользнул из

комнаты, держа инструмент. Через минуту он оказался на улице, глубоко вздохнув грудью свежего воздуха, пошёл неторопливо к небольшому скверу напротив. Слезы неожиданно навернулись на глаза. Сквозь них он увидел Вальку, её руку, протягивающуюся к мужу, и её глаза... Музыкант сел на скамейку, задумался. Подул ветерок, собрал пожелтевшие листья, весело разнёс их по зелёному ковру. Один лист упал ему на колени, музыкант в задумчивости его разгладил. Мимо с шумом пролетали машины. Он поднял глаза и увидел церковь.

У него перехватило дыхание: вот чудо так чудо. Купол церкви играл золотом на солнце, благодатное сияние исходило от него.

— Надо в церковь ходить, — подумал он. — Наверно, Иван да Валька в церковь не ходят, — и положив на инструмент руку, прижал ещё ближе к себе, думая о музыке, сотворившее чудо...

Через много лет уже немолодой музыкант проездом после командировки оказался у знакомого сквера. Его потянуло туда зайти. Вот и старая скамейка, и дом напротив. У него новомодный фасад, и, наверно, никто из прежних хозяев там уже не живёт. Только окно на втором этаже не изменилось. Ясно вспомнилась встреча с режиссёром, обманутые надежды. Кухня с Иваном и его крикливой женой Валькой, где всех объединила и взволновала музыка... Хотелось вернуться туда, снова пережить чувство понимания друг друга, пережить страдание и исповедальные муки над суетой бытия, сродниться в печали и в светлой радости, словно в молитве. Защититься. Ощутить чужих людей, как свою семью...



НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ

Отколесив не одну сотню километров, мы прибыли в небольшой уральский городок. Места здесь особенные. Много всяких чудес. А главное — это природа: река, озёра, лес и горы — все они составляют основную достопримечательность. Народ тут тоже достопримечательный, интересный, талантливый, смекалистый. С природой дружит и с любовью к ней относится. Вот поэтому и притягивают места уральские. А, как говорится, родных повидать и по святым местам побродить — это уж обязательно...

— Как никак — февраль, всё метёт и метёт. Всю дорогу снегом занесло, — сказал водитель Николай, с трудом подъезжая к дому. «Ой, кто приехал!» — раздался за воротами женский голос.

— Ой, родненькие, я сейчас! — Застучали железные засовы и забрякали замки. — Ой, потерпите чуточку.

— Не торопись, мы ничего, потерпим, потерпим, — отозвался Николай, выходя из машины и услышав причитания. — Небось узнала?

— А как же ещё! — радостно пропел женский голос, и ещё веселее, торопливее застучали засовы. — Ой, издалека. Однако, устали, наверно? — спрашивала, открывая тяжёлую дверь в воротах. Яркий свет выхватил из темноты машину, оставляя в тени хозяйку.

— Ну что, родная, встречай дорогих гостей! Из центра, из области, — ласково ответил Николай. По говору и интонации чувствовалось, что родные люди.

— Да, вы проходите, проходите, родненькие!

Наскоро укрывшись пуховым платком, в лёгком пальто и валенках, она стояла, слегка пригнувшись, прижимая руки к груди, и приветливо приглашала в дом.

Николай подошел к ней, крепко обнял.

— Ну вот, сестричка, наконец-то мы увиделись!

Мы осторожно, с любопытством, прошли в дом. В доме было уютно и тепло. Через некоторое время с другом-музыкантом и Николаем мы всю парились в бане.

— Хозяин-то дома? — спросил я у Николая.

— А, Аркадий, этот «На солнечной поляночке»? Он дома, пораньше с работы трактор пригнал, узнал, что гости приезжают. А то бывало, с керосиновой лампой не найдёшь, как партизан прячется. Весь в работу уходит. А ну, поддай ещё пару! — крикнул мне Николай.

Я плеснул полный ковш воды на каменку.

— Ах, как хорошо! — кряхтя на верхней полке, размахивая веником, Николай разгонял поднявшийся с каменки густой туман. — Пар какой-то особенный, замечаешь? — обратился он ко мне. — Это только у него, как у настоящего хозяина. Во всей округе не найдёшь. Тут на этот парок соседи в очередь стоят. Лечебный какой-то, или заговорённый, Бог его знает, а может, в камнях сила заложена? И где он эти камешки добыл? Уж не хозяйка ли медной горы, ему подкинула, — весело, смеясь, шлёпал он веником себя. — Вот, смотри, — поворачиваясь ко мне на полке, держа рукой в варежке и показывая веник, продолжал. — И веник-то у него крепкий, тоже чудной, ни один листок не отпал. А на базаре, в городе, купишь, так до бани, как угорелый бежишь, как бы листья в порох не превратились. А потом он, этот веник, и дворнику для пыли не нужен. Вот! — многозначительно подытожил... — А когда он, этот «На солнечной поляночке», собирается по веники, то ни одной души с собой не берёт. На трактор — и в лес. А куда? Кто его знает? И ведь на скрягу не похож ... — продолжал шлёпать себя душистым веником, рассуждал. — Видимо, место то бережёт от сглазу, и чтоб не надругались над ним и над природой здешней. Пока ещё чистая. А нука, поддай ещё! — махнул веником, глубже забываясь на верхней полке. — И кто его знает, за что ему этакая награда? Наверное, есть

за что. Приедет, бывало, поздно ночью из своих партизанских мест, привезёт ворох веников, оставит себе на зиму, остальное — раздаст друзьям и знакомым. Всем раздаст. Чудной какой-то. Одно слово — «На солнечной поляночке», — то ли с уважением, то ли с насмешкой заключил Николай.

Мы с другом-музыкантом на нижней полке сидим, дышать легко, и не жарко не смотря на то, что пот по всему телу ручьём течёт. Весело переглядывались и продолжали с вниманием слушать интересный рассказ.

— Вот за этот наш, уральский пар, и любят его. Ему его не жалко. Душа, понимаешь...

У меня почему-то застряло в голове прозвище хозяина «На солнечной поляночке». Уж какое-то необычное и странное.

— Пар-то хороший, просто замечательный, — поддакнул я, стараясь оторваться от своих мыслей, и продолжал. — Да... банька у него прекрасная, это уж точно. Хотя в строениях я вообще не разбираюсь. Никогда ничего не строил, кроме песочных домиков в детстве. Иногда наблюдал из-за двери, как сосед по коммунальной квартире карточные домики строил после ссоры с женой. Построит карточный домик, потом как шлёпнет рукой по нему. Гневный был, говорят...

— А эта баня, — перебил меня Николай, — с душой построена. Попаришься, и весь год, как святой. Сила какая-то в ней. Дух крепкий держит. Она, как говорится, и госпиталь, и санаторий, и курорт заменит...

Мы с музыкантом, напарившись, выскочили в предбанник и сели за маленький столик с керосиновой лампой. От лампы падал неяркий свет на почерневшую и помятую в боках алюминиевую кружку...

— Да, ты знаешь, так можно и Змея Горыныча переплюнуть, ишь из тебя пар с огнём, как из пасти, прёт, — кинул я неловкую шутку влетевшему с густым туманом в предбанник, Николаю.

— Это хорошо! Пусть боятся русского человека. Он после бани ох, как силён, а врагу смерть, — широко улыбаясь, отозвался он. Резко втянул в себя воздух и крепко выдохнул. — Ну, — победно стукнул себя по коленкам. — А, теперь, мужики, по военному обычаю, не грех и... — завис в загадочной позе, — по наркомовской

опрокинуть. Достал, привычно, «Столичную» из небольшого, потемневшего, выдавшего виды, шкафчика. Закрывая дверку, ласково погладил её и тепло произнёс. — Это наш банный угодник. С лёгким паром! — преподнеся мне кружку. — За отменный пар и за хозяина!

Кружка пошла по рукам. Николай выпил залпом последний и резко выдохнул:

— Эх, хороша наркомовская. Крепкая, однако, — и поднял большой палец вверх. — Хозяин знает толк. Тут только «Столичной» и угощают.

— А что, традиция такая? — спросил я.

— Да, конечно, это и фронтная кружка, и лампа керосиновая, и всё для того, чтоб не забыть о войне, да и о победе постоянно помнить. А её нельзя забывать, — наставительно сказал Николай. — А что кружка помятая, так это память о военных друзьях. Была она у них общая, вместе пили из неё. Каждая вмятина свою историю помнит. И лампа, тоже фронтная, окопная, так и стоит с тех времён.

— А почему он всё это не дома держит? — спросил я.

— Только ему это понятно. Что-то есть в этом для него значимое и дорогое, — выдохнул Николай. — Да и неудобно его расспрашивать. Одно знаю, порядок в бане держит по-военному. Святое, для него, это место... — поставив наркомовскую бутылочку на прежнее место в шкафчик, он ласково прихлопнул дверку. — Вот и всё! А теперь прошу в дом.

Через несколько минут мы были в доме. Стол был уже накрыт. Сидели на мягком диване. Сестра Николая ушла во двор хлопотать, но вскоре вернулась. — С лёгким паром! — поприветствовала нас.

— Чудесная у вас, баня, — похвалили мы её. — А где Аркадий?

— Да он уже в бане. Трактор поставил. Пока вы парились, он к соседу на выручку съездил. Телегу направлял. Кое-как домой затащила. В общем, чудак, «На солнечной поляночке», — ласково сказала.

Тут опять у меня мысль: как узнать про прозвище-то, необычное. Мы с музыкантом переглянулись и, тут же, поняли друг друга. У него этот вопрос тоже гвоздём в голове.

В доме было просто и обычно. Белые с кружевами занавески. Аккуратно зашторены окна. Везде вышивка, на столике — старенький радиоприёмник. Вокруг зеркала, в простых рамках — фотографии

родственников. В углу высокий фикус разбрасывал свои широкие листья, создавая особый домашний уют. Деревянный пол застлан полосатыми разноцветными половиками. Мне показалось, что я вернулся в своё далёкое детство. Потребность в чистоте и простоте — это была необходимая духовная защита от тяжёлых последствий войны. Чтоб душа не замыкалась. В такой обстановке она очищалась и получала простор. Поступки становились светлыми и чистыми и не носили двойной или другой смысл. Здесь работалось и дышалось легко. Особое обаяние русской нравственной чистоты.

Мне показалась, что сейчас зайдёт моя мама или мой дедушка, возьмёт гитару или скрипку — и польётся мелодия... И так нам было хорошо от этих мыслей и чувств, рождавшихся в этом чистом и светлом жилище. Стояла тишина. Волны банного тепла гуляли по всему телу. Лёгкая дремота обволокла сознание. Я стал терять ощущение времени и пространства, проваливаясь блаженными чувствами в приятные воспоминания. В глубине сознания лёгким звоночком вызванивался вопрос о любопытных этих словах — «На солнечной поляночке».

— Ах, так прозвали хозяина, — размышлял я в полудрёме. — Но почему? Ведь это песня. А может он ещё и поёт? Да нет, наверно, Николай бы сказал. А песня-то замечательная, великая...

В комнату вошёл Николай, и мои мысли прервались, исчезая в глубину тёплых воспоминаний. Мы тут же пришли в себя, очнулись.

— Что, задремали, небось с дороги-то, да с баньки тринадцатый сон видели? — хихикнул он. — А ну, давайте за стол!

Сели за стол. В руках у него сигарета весело проделывала танцевальные пируэты. Его озорные глаза веселили нас. Я вдруг набрался смелости, спросил, почему зовут Аркадия, хозяина, «На солнечной поляночке». Сигарета мгновенно застыла в пальцах. Николай слегка задумался.

— Это от войны, на третий год проклятой, — глубоко вздыхая, продолжая теревить сигарету, — как он мне с неохотой сам рассказывал: «Была танковая битва, они шли в атаку. Подбили их у какой-то деревни. Едва выскочили из танка с раненым бойцом. А тут немцы по деревне и по танку так хлопнули, что от деревни ничего не осталось. От танка одна воронка. Везде стрельба, взрывы. Всё

грохочет и горит. Ад крошечный. Куда бежать? Сидим в воронке в самом центре боя. Увидели через огонь и дым за сильно заросшим бугром какое-то строение, из воронки поползли к нему. Пока ползли к нему, уже темнело, огляделись, незаметно открыли маленькую дверь и заползли внутрь. Оказалось, это — баня с предбанником. Вот повезло. А тут бой уже стал уходить дальше на запад, к немцам. Потом всё утихло. Раненого бойца положил на лавку в предбаннике, а сам в баню. Странно, но в бане ещё было тепло. И вода была. Достал кружку, да набрал воды товарищу попить, потом дал ему из фляжки, для силы, он выпил и задремал. В общем, заночевали. Сам стал искать, где прилечь. То в один угол, то в другой. Было уже темно. В углу задел что-то, упало и звякнуло. Спички берёг и решил не зажигать. На ощупь почувствовал что-то непонятное. Осторожно зацепил и вытащил. И словно пришибло от удивления. Да это ведь балалайка со струнами! И они-то и зазвенели. Провёл рукой по корпусу. Да ведь это балалайка... Точно она...

Вот её рёбра. Вот треугольник с грифом. Вот радость, да ещё какая! Положил до утра в то же место. Утром виднее. Едва дождался раннего рассвета. Раненый боец пока ещё спит. Солнце ещё не взошло. Достал из угла находку и тихо вышел. Слабый утренний свет осветил её. Стояла тишина. Руки сами потянулись к струнам....

Николай, пересказывая, и сам волновался, продолжил: «Музыкального образования, правда, у него не было, да оно ему ни к чему, главное, чтоб душа пела, а руки ему сами помогут. Натянул ослабевшие струны и по-своему их настроил. Эх, война, война! Был бы сейчас твой хозяин, балалаечка, да нам бы хоть какую-нибудь камаринскую сыграл, может, и полегчало бы. Музыка, как известно дело, лечит, а кого и калечит. Смотри, у кого в руках. Если игрок никудашный, то от его игры уши вянут, а ну если ладная-то — душа по всему телу расплещется. — Николай, улыбаясь, широко раздвинул руки в сторону, подтверждая сказанное, продолжил. — Настроил он на свой лад балалайку и стал подбирать мелодию. Любимую песню командира. Про гармошку. Весёлая такая, душевная песня. Все бойцы заразились этой песней.

А тут балалайка в руках, что-то делать надо, душа просит. Стал он тихонько подбирать мелодию про гармошку. Вроде, хорошо получается, а припев почему-то не выходил, путался. Потом осилил

её до конца, конечно. Заиграл, повеселее стало... А тут и солнышко первыми лучами заиграло на струнах. Боец от звуков проснулся, улыбнулся, преодолевая боль, приподнимая голову спросил:

— Ну что, получается? Давай нашу, командирскую, «На солнечной поляночке».

Запели тихо, а потом всё громче. Да так разошлись, что веселее стало. Товарищей начали вспоминать, так увлеклись, что и не заметили, как наши их нашли. Раненого санитары унесли. А он забрал балалайку да всю войну с ней так и прошагал».

— Интересно, а как их нашли? — спросил я.

— Известно дело как, — продолжал Николай. — После боя всегда раненых подбирают. А тут идут после боя, тишина, слышат — и не могут понять: или птицы поют, или звуки откуда-то идут. Ну и пошли на звуки-то. Потом поняли, где-то, что-то играет, а на чём непонятно, да как играет хорошо. Звук такой красивый, чистый, серебристый из-под земли, из-под ног, значит, идёт. Сообразили — только наши! Они хоть из-под земли, да голос дадут. А тут ещё балалайка звуки подаёт — и как по компасу пришли. Её, как известно, далеко слышно. Особенность у неё такая. А если по воде, то с одного берега до другого слышно, будто рядом играет... — философски подчеркнул Николай и дальше рассказывал. — Как увидели, что раненый боец лежит на лавке, а второй сидит около него, в солдатской обгорелой рубашке, и песню «На солнечной поляночке» поёт под балалайку, весёлые такие — обрадовались, что они живые. Им чуть большой орден за такой подвиг не дали. Потом, конечно, наградили, но потом... С тех пор он с балалайкой не расставался. Спасла их, значит, эта песня «На солнечной поляночке», и, конечно, балалайка. А уж песню эту на балалайке он потом играл везде. Вот и отсюда и прозвище у него.

Мы с музыкантом понимающе покачали головой.

— Но это ещё не всё, — увлечённо рассказывал Николай, рассуждая. — Что в этой балалайке особенного? Да, ничего. Только частушки, да русские песни петь...

При этом поднял указательный палец, и высоко поднятые брови на лице изображали многозначительность.

— А на войне между боями он мелодию придумал, нежную такую, как невеста, уж до того красивая, прямо душа стонет. Солдаты

эту мелодию быстро полюбили. Послушают, послушают да вздохнут. Вспомнят своих родных и близких, словно дома побывали. Да какая, при этом, сила появляется, какое бесстрашие! Они за родную землю, за свой дом, за любимых готовы врага бить и бить, да с такой яростью, чтобы никогда не только дотрагиваться — думать они не могли бы о нашей Родине... Жаль, что военная жена — балалайка где-то осталась — может, и зазвучит под чужими руками... надеюсь хорошими. Плохому она не даёт, только доброму душу отдаст. Враги-то её боятся, — резко выдохнул Николай, а потом продолжал, растягивая слова. — Уж и хитрая наша балалайка. Поэтому враги и злятся на неё, что завоевать не могут. Где ты видел, чтобы русскую душу могли завоевать? Балалайка — душа русского народа. Вот так вот! — завершил он свой рассказ.

— Ну, а дальше что с Аркадием было?

— Когда его контузило, лежал в госпитале. После руки стали плохо слушать. В пальце небольшой осколок застрял. Говорит, что их много из него повытаскивали. А этот не стали, мол, из-за нерва. Переживал. Главное, чтобы рука работала, а осколок пусть на память останется. Он его переживёт. Ну, а потом приехал с войны, дом поднял, помогал всем, чем мог. Ну, здешний народ и зауважал его.

Незаметно открылась дверь. В дом, со снежным шлейфом, зашёл Аркадий, обдавая всех лёгким морозцем.

— Здравствуйте, с лёгким паром! — приветствовал он нас и, слегка прихрамывая, прошёл в комнату. Лицо раскрасневшееся. Красные, от пара, пятна выступили на плечах, чуть прикрытых махровым полотенцем. Ясные, чистые глаза весело смотрели на нас.

— Вот и хозяин! — воскликнула хозяйка, радостно засуетилась за столом.

— Ну что, начнём! — в руке у Николая заиграла бутылочка самогона. Разлили в небольшие гранёные рюмочки.

— За хозяина и за баню! — подняли гост.

А пельмени-то! А пельмени-то! Сами в рот летят. Что за чудо такое? Горячие, обжигающие, они быстро стали исчезать с тарелки. Пельмени уральские, да какие! Таких я ещё не видывал и не пробовал. Маленькие, аккуратные сложенные. Вкус необычайный. Говорят, с тройной начинкой. Стали хвалить хозяйку. Она хитро улыбалась и молчала. А потом говорит.

— Да это мой Аркаша сладил! Радость всегда от них. Поел, как на солнечной поляночке побывал. Так хорошо! А вы почувствовали, какой он самогон варит, — продолжала нахваливать, — что в округе такого не сыщешь!

Под такую рекламу налили ещё по одной. За едой не заметили исчезновения хозяина.

— Опять, наверно, убежал кому-то трактор чинить, — безнадёжно махнул рукой Николай.

Но тут в дверях появился сам Аркадий «На солнечной поляночке». Держит осторожно в руках инструмент.

— Вот и балалайка, двадцать лет была на чердаке. Подарили, так и не играл, — как бы извиняясь, он тут же спросил:

— Говорят, тут к нам музыкант приехал, пусть и оживит его, — и положил на стол покрывшую инеем балалайку.

Товарищ мой с интересом и осторожностью взял инструмент. Потёр от инея ладонью гриф, потом — корпус. Попросил мягкую тряпочку и основательно протёр всё от влаги.

— Странное дело, трещин на корпусе нет, — заметил музыкант. — Так долго инструмент без игры немеет, перестаёт петь и звучать.

И как мастер своего дела начал настраивать его. Заскрипели колки. Зазвучали струны от прикосновения пальцев. Всё более уверенно подавал инструмент свой голос. Вот и аккорды настроились, и полилась весёлая народная мелодия. Музыкант, что называется, слёту разогревал и не только балалайку, но и всех сидящих и раскрасневшихся за столом. Края скатерти на столе затанцевали — задробили ноги под ней. Весело задёргались руки на столе, перехватывая в руках то рюмку, то вилку с закуской.

Вдруг хозяйка выскочила из-за стола — и в круг. Плечами повела, руками задвигала.

— Давай, давай, — подхватывая игру балалаечника, кричал сестре Николай. А она уже сама кого хошь за живое заденет! Танцует, широко размахивая руками. Потом обхватила невидимого танцора и по всей комнате повела круги. Балалаечника раззадорило, и он ещё больше дал жару. Аккорды сыпались с грифа с такой частотой, с удалью и размахом, что руки с инструментом слились в едином порыве, их не стало видно. Струны выговаривают искрометную камаринскую.

— Дроби ногами, жги! — крикнул раскрасневшийся Николай, вырвавшись из объятий стола, закуски и самогона, и задробил. Всё слилось в единый порыв, и хозяйка, и Николай, и музыкант. Всё закрутилось, завертелось, раскатываясь охами и ахами, выделявая немислимые коленца. Казалось, всё в доме плясало, стучало, пело, звенело. Вдруг игра резко, на быстрой ноте, оборвалась. И, одновременно, тройной выдох нарушил мгновенную тишину. — Да-а-а, — протянул Николай, тяжело дыша, — давно ногами так не куролесил. Вот поплясали да поплясали!

— Это тебе не за девками ногами шаркать и тащиться, — весело хихикнула ему сестра, обмахивая платком раскрасневшее и вспотевшее лицо.

— А что, за девками тоже скорость нужна, и с балалайкой-то ещё скорее будет. Она намертво присмолит. Вся жизнь будешь с ней, как у Христа за пазухой, — вызывающе подытожил Аркадий, продолжая ещё тяжело дышать... Музыкант положил инструмент на стул.

— Чудная. Только дотронешься, уже играет, а потом не остановишь её. Скоростная она уж больно. Так замотает, что аж сердце выпрыгивает. Вместе с душой улетит, и не поймаешь! Вот так! — наливая в рюмочки, размышлял Николай. — Ну и за музыканта, за «Камаринскую»!

Взволнованный музыкант, продолжая расправлять руками слегка прилившие волосы ко лбу, обнажая лицо, скромно улыбнулся ему в ответ... Новые порции пельменей успешно исчезали со скоростью танковой атаки. Разговор шёл за столом всё бодрее, перескакивая с одной проблемы на другую. Почему-то пельмени вдруг перестали «идти в атаку», замедлили свой ход, а то вообще притормозили. Тут Николай неожиданно обратился к Аркадию:

— Слышь, ты ведь когда-то играл, может, тряхнёшь стариной? Есть у тебя своя зазнобушка, то ли песенка, то ли уж хитрая мелодия. За что солдаты полюбили и перед боем просили её наиграть. Молчишь? А, может, вспомнишь? Сестра её уж нахваливала, душу волнует. Если можно, хоть чуть-чуть, и музыканту интересно послушать, — всё настойчивее наседали Николай.

— Ладно, попробую.

Аркадий взял инструмент, как бы стесняясь музыканта, и ласково посмотрел на него. И вместо привычного положения инструмен-

та, с левой руки переложил гриф на правую. Как бы, наоборот, в зеркальном отражении. И начал настраивать на свой собственный лад.

Музыкант заинтересовался необычным положением инструмента, а ещё более, когда Аркадий настраивал его.

— Играть много не могу, не выдержу. Металл в пальце не даёт, на руку влияет. Вот и пришлось, после войны заново учиться... — виновато, тихо говорил. — Всё ради памяти о командире, да и этой мелодии, которая покоя мне не даёт.

— Как она называется? — ещё более внимательно вслушиваясь, спросил музыкант. Все напряжённо ждали.

— Да так, просто — «Дорога к тёще». А почему? Наверно, мне трудно это объяснить. Так уж получилось.

Начал играть. Инструмент словно перевоплотился из весёлого камаринского наигрыша к неожиданно тихому, плавному звучанию. Мелодия лилась, как уходящая тропа в лесную чащу, искрящая росой, переливающаяся лесными красками в гуще заросших вековых деревьев, и продолжая уходить ещё во влажные, вызывающие волнуемый трепет запахи цветов, обнажённые ранними лучами утреннего солнца, насыщая свежестью леса. Звуки лились и лились... Создавая всё новые образы в сознании слушателей. Вот и дом, слегка наклонившись, обнесённый низким забором. С заросшей травой дорожка к реке. Забытая лодка, занесённая илом и песком с торчащими, наполовину из воды боками. У калитки молодая берёзка, заботливо укрывшая своей тенью широкий старенький пенёк, на котором ребяташки проводили долгие часы. А он охранял их тайны и мечты. Мелодия лилась и лилась... Обретая светлое и глубокое звучание... по потаённым местам души. Неожиданный скрип двери гостя, и родной дом наполнялся радостными причитаниями. Блины с мёдом и молоком. Душевные рассказы о коровке, овцах, о погоде, о земле. Да и о святой водице в колодце. Сколько радости и счастья испытываешь в этом родном уголке!..

Мелодия вдруг остановилась, вздохнула, потом взлетела высоко, звуки повисли и стали медленно угасать в светлых и далёких воспоминаниях, оставляя ещё долго щемящее чувство светлой радости. Прозвучал последний аккорд... Все думали о чём-то своём. Музыка меня взволновала. Я почувствовал комок в горле... Сильно запершило. Стал задыхаться. Выступили слёзы. Не хотелось ни есть, ни пить.

Музыкант был потрясён: «Я ещё такого не слышал».

Аркадий сидел молча и неподвижно. И только глаза голубые, чистые излучали столько добра, тепла и света, что дом снова наполнился этой удивительной и прекрасной мелодией. Инструмент был прижат руками к груди, как бы создавая единое целое, не делимое ни временем, ни годами, ни войной, ни катаклизмами. И что, и какая душа в нём? Загадка для меня...

Звуками своей балалайки он сделал нас ещё ближе, объединил, и мы стали единым организмом. Обогрел он нас своей теплотой. Просветлил наши мысли...

В машине, возвращаясь обратно домой, мы долго молчали. Николай курил. Мы с музыкантом молча переглядывались. Не хотелось говорить. Светлые воспоминания крепко держали нас. Снег валил за окнами машины, редкие лучи встречных машин освещали кабину. Ровно шуршали колёса. Только сквозь эту относительную тишину в сознании пробивалась удивительная мелодия, тихая, неприметная, со странным названием — «Дорога к теще».

И тут музыкант с досадой воскликнул и себя ударил рукой по коленку: «И как я не смог запомнить его аккорды на балалайке, ведь они все — наоборот, а без них я не могу воспроизвести эту гениальную мелодию!»

Я его понял и отвернулся к окну, едва сдерживая слёзы. Вдалеке светился большой город...



РОМАНСИК

На учебном военном полигоне тихо и спокойно. С последним выстрелом полигон надёжно затянул свои молодецкие раны мелким полесьем и густыми кустарниками. И каждую весну разливался разноцветьем молодой травы и свежей зеленью молодых деревьев, быстро вытягивающихся вверх, показывая свою неистребимую жизненную силу жителям тихого военного городка.

Учебная стрельба их давно уже не беспокоила, иногда райскую тишину городка нарушал ленивый лай собак, расплотившихся от тёплой и сердобольной заботы.

Затерявшейся в тихой и спокойной жизни городка, немолодой Арнольд Диезов сидел дома, грустно разглядывая своё лицо в зеркало.

— Да... ты ещё молод, и на тебе ещё пахать да пахать, — с тяжёлым брюзжанием повторял он слова жены, которые она произносила каждый раз, возвращаясь с базара. — Эх, вы, руки мои руки, рученьки, им бы дорогой рояль да заграничные гастроли, — мечтательно причитал он, разглядывая свои руки. — А тут картошка, да тяжести всякие таскаешь, чёрт их побери, — с горечью выдохнул. — Ну, да ладно, — смиренно философски соглашаясь с неизбежностью бытия. — А хотелось бы играть... играть... Как хотелось бы выступать в престижных залах. Ох, как хотелось... Тут тебе и несмолкаемые аплодисменты, роскошные цветы и до утра весёлые банкеты, банкеты, банкеты... Эх!..

Он с удовольствием вытянул ноги, закинул руки за голову и до хруста в костях вытянулся на стуле. Тут Дизезова приятно разнесло на всю ивановскую в мыслях, которые вихрем взметнули его в счастливую мечту:

— Слава — это штука такая, всё парит и парит над тобой, ласкает и целует тебя, заигрывает, этакая чертовка! Эх! Что-то радостно ёкает внутри. А тут тебе ещё восторженные звонки от друзей, почитателей и, самое приятное, от почитательниц... А сколько можно оставить автографов! — ещё сильнее распалаял себя Дизезов. — Ведь из них складываешь по кирпичику, как великий скульптор, египетскую пирамиду славы, и на вершине ты... Да-а!

Сверлившая мысль, что он ещё может сотворить кое-чего значительное, вдохновляла. Продолжая глядеть в зеркало, старательно разглаживая морщины, вспоминал юношеские годы, забавы, анекдоты, смех по поводу и без повода, щекотавшие душу романчики, вспомнил он и о романтических надеждах юности, как верил в счастливую мечту. Вспомнил, как с радостными, восторженными возгласами «Спи, «Шуберт»!» друзья весело провожали его домой... А как провожали! Эх, времечко было...

Он улыбался, вглядываясь в зеркало, на порозовевшее от приятных воспоминаний лицо.

— Ах, какая была куриная печень по-японски! — продолжал вспоминать. — Какой незабываемый ирландский гребешок. Ну, а нежное французское вино? Мечта! И чего только я там не попробовал на юбилейном банкете у приезжей из-за границы звёздной знаменитости. А что! Есть что вспомнить... однако...

И продолжал приятно вытягиваться на стуле то в одну сторону, то в другую. Неожиданно раздался телефонный звонок.

— Слушай, Арнольд, — звонил старинный товарищ. — Я давно хотел тебе помочь. Сейчас я работаю музыкальным редактором, предлагаю тебе написать небольшую музыкальную пьесочку или какой-нибудь романсик для фильма, — ласково и заботливо продолжал голос в трубку. — Зазвучишь... Глядишь, слава пойдёт, сам понимаешь...

Дизезова охватил лёгкий и волнующий озноб.

— А какие стихи? — робко и неуверенно спросил будущий автор шедевра.

— Это ты сам найдёшь, коллега! Понял?!

В трубке раздались длинные гудки.

— Вот привалило, так привалило!

Потной рукой растерянно Диезов положил трубку на место. В голове сразу стало темно от неожиданного предложения.

— Вот она мечта! Вот она! — и он нервно заходил по комнате. — Вот, бери её, синюю птицу, и взлетай, взлетай... Надо срочно сочинять и сейчас же, не откладывая на потом, — приказал себе Диезов.

Запинаясь и задевая все углы, он поспешил к себе в комнату, где стоял старенький обшарпанный рояльчик, и плюхнулся за него. Разыскал лихорадочно пожелтевший чистый нотный листок, торопливо положил на пюпитр и уверенно вывел подвернувшимся карандашом заголовок: «Романс». Поставил жирную точку, на которой карандаш и сломался. Мысли лихорадочно закрутились, как мясо в электрической мясорубке.

— Так ... значит, а где стихи? — требовательно спросил у невидимого поэта.

Тут же, на рояльчике лежал изрядно запылившийся томик стихов. Впившись взглядом в раскрывшийся томик, прочитал: «Нынче ночью».

— Стихи хорошие, — удивленно отметил про себя, — да и поэт известный. Вот и отлично! А я-то уж напишу, это точно! — твёрдо заверил себя и ещё кого-то, вероятно, отсутствующую жену. Потом победно взмахнул рукой, пригрозил пальцем будущему критику и выдохнул:

— Ещё вспоминать меня будете и рассказывать всем: «Ай да Диезов, ай да Арнольд! Ай да сукин сын!» И свысока чиркнул взглядом по любимому портрету Шуберта, висевшему над рояльчиком.

— Ещё долго вспоминать меня будете! Ещё долго! Шут вас возьми...

С трудом отмахнувшись от победных мыслей, он перевёл их на творческие рельсы, решительно и вдохновенно запел, подыгрывая себе на стареньком рояльчике, под которым стояла раскладушка, как нераспечатанный сейф, хранившая нереализованные мечты.

Пожелтевший чистый нотный лист с нетерпением ждал творения. Диезов напел одну мелодию, потом другую, потом третью и по-

морщился, как-то стало не по себе. Уж слишком напоминали они известные песни.

— Это не профессионально, — требовательно подошёл он к себе. Напетая мелодия уж сильно напоминала «Синенький платочек». — Дьявольски хороша, но это уж слишком. В союзе композиторов не поймут. Позор на весь белый свет. А стыд-то какой, — он почувствовал горячий прилив к лицу.

— И прощай, слава! — пронеслось в голове, как последний аккорд в ненаписанной симфонии. Вторая и третья мелодии как-то странно и сильно были похожи друг на друга. Если не сказать большее. Предательское «Полюшко-поле» и «Прощание славянки» явно торчит.

— И откуда из меня это прёт? Наверное, из далёкого послевоенного детства. А если б сейчас радио слушать, то такая бы чертовщина вылезла... Например, муси-пуси или какой-нибудь хвостик или тазик.

Досада разлилась по телу.

— Ну, да ладно, надо, миленький мой, напрягаться. Эх, ручки, вы мои, ручки, давайте выручайте «Шуберта»! Мне бы такие блестящие руки, как у Рахманинова, я бы в одно мгновение сочинил бы этот несчастный романсик, — и с неудовольствием посмотрел на свои. — Что тут поделаешь... Надо, так надо!

Диезов решительно бросил пальцы на клавиши, забарабанил с ожесточением. На какое-то время самоедские мысли отпустили его... Потом он остановился, вздохнул, напрягся, и через некоторое время на лице просияла улыбка:

— Вот она, родная. Вот она, эта фраза! Наконец-то!.. Видимо, Господь сжалился надо мной.

Быстро схватил карандаш, отбросил, нашёл другой и стал лихорадочно что-то выводить на бумаге.

— Надо успеть записать этот божественный шедевр... Срочно. Пока память держит...

Волнуясь, с трудом преодолевая внутреннюю дрожь, с усердием сажал он ноты на нотный стан. В это время раздался неожиданно сильный грохот, зазвенели в окне стёкла. Арнольд вздрогнул, мотнул головой резко в сторону, откуда пришёл этот грохот и просто-напросто:

— Ну, господа-товарищи! Позвольте же, я тружусь, я же в образе. Товарищи, — уже более настойчивее. — Я же в обра...

Тут раздался ещё один грохот с весёлым переплясом звона стекла.

— Ну, наконец, ведь вы угробите меня и мой талант, — нервно прокричал в эхо выстрела. — Ведь угробите! А талант от Бога! А кто при этом будет виноват? А будет виноват этот чёртов полигон с танками. Стреляют и стреляют, как при взятии Берлина. У них, понимаешь, стрельбы начались, знаете ли, а мне что делать, как из окопа, слушать грохот орудий и кричать «Ура»!?

Не прерывая игры, Дизезов отчаянно грозил кулаком невидимому врагу. В ответ на резкий выпад против вооружённых сил раздалась оглушительная автоматная очередь с трассирующими пулями. Дизезов мгновенно втянул голову в плечи и резко нагнулся.

Тут он увидел со страху странную картину. Вместо клавиатуры перед ним был вытянутый патронташ, а рядом стоял улыбающийся матрос Железняк, опоясанный пулемётными лентами и, тыча пальцем в Дизезова, кричал:

— Ни шагу назад, Дизезов, ни шагу... Победа за нами!

И тут же революционно запел: «Вихри враждебные». Дизезов невольно поддался пению Железняка и стал едва заметно шевелить губами. Он с удивлением наблюдал, как за спиной матроса гордо проступал, появляясь, как на фотобумаге, крейсер «Аврора». С корабля тут же ударил яркий прожектор, высвечивая матроса Железняка. Его фигура стала неожиданно расти, вытягиваться, а вместе с ним Арнольд медленно вставал со стула и вытягивался, держа руки по швам, с силой набирая воздух в лёгкие, мощно запел...

В этот момент из орудия корабля прогремел очередной выстрел. По тёмному небу и стенам Зимнего дворца нервно пробежал луч прожектора.

С криком «На штурм Зимнего! Ура! Ура! Ура!!!» — матрос Железняк быстро побежал к решётчатым воротам арки, где по ним, размахивая винтовками, лезли красноармейцы, и, как привидение, растворился... Арнольд потряс головой, не веря, резко замахал руками, перекрестился и глухо простонал:

— Что за напасть на меня нашла? Зачем я сюда приехал? Спрашивается, зачем? Всё стреляют и стреляют. А говорили, что здесь

место тихое. Да и стрелять нечем. Знай, что тут солдатики у танков дуло чистят. Тишина, да и только.

Неожиданно раздался ещё один резкий хлопок выстрела. Он ещё сильнее пригнулся.

— Вот она слава, с каким трудом всё достаётся. Ишь, как стреляют. Небось, медальку получают, а может, и орден. Точно на Кутузовский тянет. Может быть, мне надо было на военную службу устроиться, был бы, наверно, неплохим танкистом. И медальку бы заслужил, она в нашем деле не помешает.

И с удовольствием поглядел на свои руки... Тут он на мгновение высунул голову из-под клавиатуры. Вроде тихо. Слегка вытянулся, потом сел поувереннее и стал продолжать быстро записывать ноты, при этом сетуя на свою хилую беспомощность.

— Вот намеренно увижу подполковника, я ему всё, я ему всё... я ему всё... Кстати, тут я его видел с какой-то дамой, они в подъезд заходили, и она вроде ничего, хорошенькая такая... Наверное, из Москвы выписал. Какой он ловкий ухажёр. Все они такие, эти танкисты...

Не успел он продолжить свою мысль, как раздался очередной выстрел. Стёкла на раме запели истерический романс...

— Чечня, да и только, — пригнувшись, раздражённо выругался Диезов. — Но что тут делать? Надо привыкать к выстрелам. Надо привыкать, — успокаивал себя Диезов. — На войне как на войне, чего только там не бывает. Под выстрелами, говорят, еду готовили, стирали и рожали. Вот, например, великий Шостакович, под бомбёжками во какую бессмертную симфонию написал, при этом ещё зажигательные бомбы на крышах домов во время налёта фашистов успешно тушил.

Тихо рассуждая вслух, он неуверенно-робко распрямлялся на стуле.

— А мне, скромному музыканту, чего надо, пусть тренируются... — и заботливо, ласково посмотрел в окно, успокаиваясь. — Давай-ка, лучше подсчитаем, сколько времени от выстрела до выстрела проходит, кажется, минута, значит, должен уложиться.

И он продолжал старательно выводить ноты. Едва успел написать несколько тактов, раздался очередной выстрел.

— Вот молодец! Правильно подсчитал, — похвалил себя Диезов, не отрываясь от нот. Но тут стало появляться неприятное внутреннее напряжение.

— К чему бы это? — выводил очередную музыкальную фразу, подумал он и на мгновение остановился, глядя на часы, — А ведь выстрела нет, и минута давно прошла. Наверное, чего-то замышляют эти солдатики. Я их военную смекалку знаю... Солдаты — народ хитрый.

Не развивая мысль, уводящую от главного дела, Диезов переключился на старые рельсы, приговаривая: «Ну, «Шуберт», давай, пока тихо». Зазвучали аккорды. Усиленно сопя, подпевая, кандидат в бессмертие, очередной раз нащупал ключевую интонацию, вдохновенно поймал её, напрягся для запоминания, едва удерживая бриллиантовую фразу на высоком нерве, лихорадочно выводил ноты, не жалея усилий...

В это время под окном раздался радостный лай собак. Диезов в который раз схватился руками за голову...

— О проклятье, ещё этого мне не хватало. Надо же, придумать этим шакалам свою свадьбу устроить под окном. А как гавкают, всю душу выворачивают наизнанку эти нестриженные чудовища. Арнольд с остервенением выскочил на балкон и стал кричать:

— Эй, вы, дикие животные, вы понимаете, что у меня вдохновение, оно может исчезнуть. Из-за вас не могу работать. Оно может уйти! Вы подрываете мой бюджет. Понятно вам, грязные животные! Прочь отсюда, прочь! — и стал нервно размахивать руками, как ветряная мельница. От истерического крика с балкона собачья свадьба испуганно и растерянно вздрогнула и чёрным комом укатила и исчезла, только через некоторое время радостный и глухой лай слышался где-то в глубине отдалённого квартала. Чуть успокоившись, Диезов снова сел за инструмент и продолжил играть.

— Нет, надо, успокоиться, — твердил он. — Творчество — штука нежная, ласковая, — продолжая настраивать себя. — Ничего, я им ещё покажу, на что я способен... И постепенно к нему стала возвращаться уверенность.

— Ну, «Шуберт», выручай в последний раз!

Руки стали двигаться по клавишам всё более уверенно... Вот, вот начал нащупывать неизвестную мелодию. Сердце радостно забилось. С трудом, отрывая себя от победных мыслей, он стал ещё больше напрягаться. Осталась последняя фраза. Внезапно послышался резкий стук, напоминавший удар футболиста по мячу. Дие-

зов замер в позе роденовского мыслителя, прислушиваясь, откуда. Стук проявлялся ещё ярче и чаще, постепенно двигаясь по потолку. Диезов уж который раз схватился за голову и простонал, что за день такой, одни испытания, шут их возьми. Осталась последняя фраза. Наверху старушонка эта вредная, наверное, совсем выжила из ума. А ведь не подумаешь на неё. Такая чистенькая, ну Божий одуванчик. С утра вежливо и культурно поздороваётся тихим приятным голосом, не то что бухгалтерша из соседнего дома. Как увидит, то кричит: «Когда за квартиру заплатишь? Мне отчёт сдавать!» А я ей ещё до отчёта всё заплатил на два месяца вперёд. Нет, чем же она там стучит? Нашла время. Ведь чемпионат мира по футболу давно прошёл. Она всё стучит и стучит и ещё что-то тяжёлое катает... В это время раздался выстрел. Стёкла резко и пронзительно звякнули. Тут Диезов снова судорожно схватился за сердце. Раздался ещё один неспросчитанный хлопок выстрела. Стоявшие под окном кандидата в вечность две иномарки ответили яростной сигнализацией.

— Как они противно верещат, как противно... — нервно застонал Диезов. Несбыточная мечта об иномарке привела его в сильно негодующее состояние. Вскоре раздался ещё один выстрел. Потом ещё. Иномарки дружно истерично завизжали.

— Так им, так! — глядя в окно на тёмно-зелёный БМВ и красный мерседес, уже кричал Диезов. — Пусть почувствуют силу русского оружия, приехали тут верещать... Да ещё под моим окном. Верещали бы у себя в Германии. Оттуда неслышно, и нам тут нервы бы не трепали, своих танков хватает.

Через некоторое время раздался мощный залп из тяжёлых орудий. Зазвенели стёкла, залаяли собаки, что-то упало со страшным грохотом наверху у старушки. Диезов отчаянно согнулся, отрешённо застыл, держась за сердце и голову, замер... Потом, тяжело подняв свою руку на пюпитр, как раненый боец, записал последнюю фразу, поставил заключительный аккорд и, не помня себя, закрепил размашистым автографом. На заранее приготовленной раскладушке Диезов моментально заснул. Тут же сквозь сон увидел два портрета в золотом и серебряном окладе, они висели в воздухе и сверкали праздничными огнями. Любимый Шуберт чуть снисходительно улыбался, а на втором сиял улыбкой сам Арнольд. Они раскачивались, словно на качелях, перемешивались, как в карточ-

ной колоде, весело подмигивая друг другу. Салют искрами падал звёздочками на портреты, а роскошные рамы делали их ещё более праздничными.

Постепенно залпы выстрелов становились всё тише и отдалёнее, а потом совсем исчезли. Стрельба закончилась. Под заботливо подоткнутым со всех сторон пледом хозяин раскладушки уже спал крепким сном...

В понедельник в кабинете главного музыкального редактора, прослушав романсик, старинный товарищ сказал:

— Хм, да, неплохо, неплохо. У Вас, дорогой мой друг, слышится что-то монументальное и глубоко лиричное, и необычный оригинальный драматургический приём. Хм... Да, да похвально, похвально...

Он вытащил сигарету и нервно закурил:

— Надо же, как у него это получилось. Он ещё в студенческие годы чудил сочинительством, мы ещё над ним посмеивались. Ну, сочинял что-то вроде карликовой опереточки, за что его прозвали «Шубертом». Ну, ничего серьёзного... Страхивая пепел в пепельницу, продолжал размышлять вслух:

— Ничего серьёзного... А вот жена его, Лёлька, была хороша! Нравилась она мне, любил я её. А она, дурочка, выскочила за этого...

И с иронией посмотрел на него, а Диезов продолжал сидеть неподвижно.

— Ну, взгляни на его руки, только картошку таскать с базара, — тоскливо, уже про себя размышлял товарищ, разглаживая свои холёные ладони, красиво поигрывая точёными пальчиками, словно исполняя виртуозную пьесу Рахманинова. Но его странно тянуло к инструменту, сказывалось профессиональное чутьё. Он опять подошёл к роялю и сыграл фразу.

— Хм, да... Какой глубокий лиризм, Шопен, да и только... А это что за чудо... Посмотри, как мелодия разворачивается и набирает драматургическую силу. Это уже Шостакович...

Тут он с силой затянулся, задержал дыхание на несколько секунд и вытолкнул столб дыма. Диезов продолжал сидеть неподвижно и внимательно следил за редактором.

— Вот как надо писать, — думал он, взглядываясь в Диезова. — Вот как надо писать... А я? Блестяще закончил консерваторию,

аспирантуру. На меня возлагали большие надежды. Гастроли за рубежом, по стране. Фестивали по всему миру. Приёмы в посольствах, бесконечные банкеты, званые ужины, переходящие в завтраки, и бесконечные юбилеи больших и малых дат, и всё это из меня вычерпало. А что осталось?

Он сжал руки до хруста, глядя в затылок каменного Диезова, потом на ноты, тихо, с горечью произнёс:

— Там в нотах, вся жизнь... Да ещё какая... Могла быть и моя...

И тут ему захотелось отчаянно закричать на весь мир, взорваться вулканом, пронестись смертельным ураганом, хлынуть огромной волной, цунами, разрушая всё, за свою неустроенную жизнь, измотанную сладким бытием. За ушедшую поэзию творчества, за мечту о великой музыке. За несчастную, любимую Лёльку. За ненавистный холодный и лощёный дом на Рублёвке. За всё... За всё...

Нервно выдохнув клубок дыма, он взял себя в руки, успокоился и через некоторое время, взглянув на каменного Диезова, напоминавшего незаконченное творение Церетели, равнодушно и вкрадчиво произнёс:

— А, скажите, мой дорогой, где вы живёте?.. Где, где?.. А, понятно, понятно... В задумчивости посмотрел в окно. Оно слезилось ручейками морозящего дождя. Разглядывая их, удивился чистоте, увлекаясь игрой капель на стекле. Они его чем-то завораживали. Очнувшись, тихо, растянуто, нараспев произнёс:

— А не приехать ли к вам, да не снять ли там квартирку? — и печально, с тоской, добавил:

— Хочется что-то оригинальное и фундаментальное сочинить...

Широко шагая по лужам, размахивая руками под проливным осенним дождём, радостный Диезов улыбался, вспоминая слова жены, подставляя своё лицо под падающие с неба капли дождя, с искренней верой в счастливую мечту...

Шло время. Диезов ждал звонка. Собираясь с Лёлькой в кино, Диезов, потерявший надежду на счастливый звонок, взглянул на себя в зеркало. «Эх, до чего же ты стар, — со вздохом, трагически произнёс, — до чего ж ты стар», — и решительно вышел на улицу.

Зимний день был особенно прекрасен: солнце готовилось к закату. Лучи постепенно угасали на ветках деревьев, на крышах и стенах домов. Диезов, взяв элегантно жену под ручку, не спеша шёл

по улице. В кинотеатре было прохладно и как-то неуютно. Стояли холодные унылые кресла. Фильм был заурядный, хотелось даже уснуть. Лёлька постоянно тыкала в бок, не давая дремать Диезову... Из зала народ потихоньку поплыл к выходу... Лёлька устала дёргать мужа, незаметно увлеклась фильмом. Неожиданно что-то ударило дремавшего Диезова и подкинуло в кресле, он очнулся, ничего не понимая. Звучала до боли знакомая мелодия. Его пробил холодный пот, руки задрожали, ища опору. Тут Диезова придавил огромный ком, где прочно слились выстрелы, собаки, старуха с грохотом, верещание иномарок, и всё закружилось в сознании. Жена быстро подхватила мужа за холодные руки и тревожно зашептала:

— Что случилось? Случилось что?

Он схватился за горло, потом с трудом выдавил из себя:

— Я узнал её, это моя мелодия, — сквозь слёзы тихо произнёс. — Это моя мелодия, моя, — эхом отозвалось в груди. — Что же он, подлец, так обманул! А я ждал, я так надеялся. — Слёзы катились и катились...

— Какой тонкий лиризм. Какой сильный драматургический ход, явно Шостакович, — слышал он слова редактора. Жена растерянно глядела на него, ничего не понимая. Вдруг в финале, как предательский нож в спину, с новой силой пронеслась мощная, сильная мелодия, сметая всю скуку и пошлость фильма, вырвалась из душного зала на улицу военного городка, наполняя звуками, взлетела вверх и рассыпалась искрящими звуками в бескрайнем пространстве лесов и полей, ещё долго отзывалась исчезающим эхом...

На военном полигоне было тихо и спокойно. Только тишину военного городка нарушал ленивый и сонный лай собак... В полутёмном зале кинотеатра сидел мужчина в пальто и в шапке, рядом, положив голову на его плечо, сидела женщина в старенькой шубе.

— Всё сидят и сидят, кино давно уже нет, а они всё сидят и сидят, — ворочая шваброй среди кресел, сварливо бубнила уборщица. — И каждый день, вот так, приходят и сидят. Что, у них дома нет что ли? И зачем их сюда пускает начальство? И для чего? Не понимаю!.. — Ещё громче застучала шваброй. — Сидели бы дома, да в телевизор глазели. Иль пирожки пекла бы хозяйка. А ему по дому прилаживать иль чего-нибудь ещё делать. Ишь, какой большой да рослый. Такими руками горы своротить можно. Всё ж веселей жить.

Вот например, у меня дед, — как тряпкой об пол брякнешь, он тут же съёжится, а потом ласточкой запорхает, ужом завертится... Чево только не наворочает... А тут...

И расплёскивая воду, чертыхаясь, выскочила из помещения.

С улицы в открытую дверь неожиданно ворвался весёлый снежный вихрь, наполняя зал чистым зимним воздухом. Не обращая внимания на холодный ветер, жена держала руку мужа и нежно гладила её... Диезов больше не возвращался к музыке. Он убежал от неё, прятался, она его мучила. То она была нежной, то жестокой, то изматывала его своей страстью, то ненавистью, превращаясь в глубокую рану. Постепенно она стала исчезать, а потом исчезла совсем...

Но однажды, в предпраздничный вечер, Лёля была дома и ждала мужа. В доме всё прибрано и чисто. На балкон убрана раскладушка. На столе стояли цветы. С кухни доносился тонкий аромат ужина. Зазвонил звонок. Лёля открыла дверь, и в комнату вошёл радостный и возбуждённый Диезов с авоськой в руке.

— Вот мой подарок тебе, моя милая, по пути зашёл на базар и купил сладких— пресладких мандаринов.

Он сбросил пальто и подбежал к роялю.

— Я сочинил новый романс, или романсик, что лучше, не знаю. Вот послушай, дорогая, — и он заиграл... — Ты, наверное, помнишь эти стихи «Гроза прошла над лесом стороною, был тёплый дождь, в траве стоит вода». Какие замечательные стихи! — продолжал играть, тихо напевая...

Жена стояла у рояля и с любовью смотрела на него, на его помолодевшее лицо. Он показался ей таким молодым, темпераментным, живым, как до свадьбы. Она нежно улыбалась и тихо радовалась его новому романсу. Лицо его светилось... На улице, за окном, с детским визгом, с шумом и с треском взлетали китайские салюты и окрашивали вечернее небо весёлыми разноцветными огнями. В военном городке наступал Новый год...

Зазвонил телефон. Диезов взял трубку, раздался женский голос.

— Это квартира уважаемого Диезова?

— Да. А что?

— Вы помните Вашего старинного друга?

— Да.

— Он велел передать, что просит у Вас прощения. Он срочно уехал за границу проводить фестиваль, и там его не стало. Простите ещё раз...

У Диезова внутри вдруг лопнула давно натянутая струна. Он сразу обмяк и сел на стул...

— Как — его нет? Не может быть...

Диезову стало больно и обидно. В сознании мгновенно пронеслось всё прошлое: беспечная юность, общая влюблённость, общие концерты. Старинному другу он всегда доверял как талантливому музыканту, для Диезова его мнение было дорого. С ним была связана вся молодость. И вдруг сразу всё ушло как-то незаметно, утекло тихо без всяких признаков беды. Ему стало страшно. Он позвал Лёлю. Она подошла, он взял её за руки и долго держал. Из трубки телефона доносились короткие гудки... Неожиданно раздался отдалённый хлопок выстрела, ему ответили вяло и глухо собаки, и наверху у старушки, Божьего одуванчика, что-то шлёпнулось...



ПАЛ АНТОНЫЧ

Густой туман ранним утром мягко лёг на холодные рельсы, растворяясь в привокзальном парке, где пугливые птицы негромко переговаривались, изредка криками беспокойя одиноких жителей и постоянных обитателей тихого уголка станции Верещагино. Грустным взглядом мы проводили скорый поезд, исчезающий в молочном тумане, который издавал короткие гудки, взмахивая прощально белыми клубами дыма, словно девичьим платочком на утренней заре. Немного постояли, вздохнули, взяли вещи и отправились на стоянку автобуса, где толпился приезжий народ. Ехать предстояло далеко, в деревню к Пал Антонычу, на родину Пашки, моего школьного друга, а это ещё часа два в пути. Вскоре подъехал старенький автобус с одной дверью. Пассажиры, по местной традиции, плотно поджимая друг друга, влетели в автобус, наперебой заняли свои места, с шумом усаживались, укладывая рядом с собой плетённые корзины, чемоданы и тяжёлые сумки, постепенно успокаивались, оглядываясь вокруг себя, поверяя надёжность выбранного места. Было нам непривычно в этой суетливой обстановке пробираться меж сумками и чемоданами, ловя на себе раздражённые взгляды плотно сидящих пассажиров, но тут нахальная молодость взяла своё, и мы быстро и уверенно заняли сидение, которое находилось на колесе, на высоком месте. Самое неудачное место в автобусе. Самое трясучее. У всех пассажиров на виду, как на духу. Но мы не расстраивались, гордо смотрели свысока, радуясь, что нам повезло

с этими местами, иначе пришлось ночевать бы на станции или ловить попутку. Водитель с силой дёрнул за длинную ручку двери, которая с трудом закрылась после его грозных окриков на застрявших в дверях мужиков. Те виновато спрыгнули из автобуса под окрики возмущённых пассажиров, и вся их надежда уехать исчезла. Надрываая старенький мотор, автобус медленно тронулся, с трудом набирая скорость.

Длинная дорога, как обычно, укачивает романтических пассажиров, которые не прочь помечтать, подремать или выспаться. Но как ни странно, мне не спалось и не дремалось, не хотелось даже вспоминать городскую суетливую жизнь, вообще ничего не хотелось, вместо этого появилось странное чувство, как будто кто-то осторожно заставлял меня оглядываться по сторонам вокруг себя. Глянул в пыльное окно, увидел на нём трещины с разводом, заделанные какой-то серой лентой, потом на пассажиров, которые, слегка покачивая головами, чуть похрапывали. Невольно вслушивался в монотонное шуршание колёс и грустное рычание мотора с лёгким призвоном. Перевёл взгляд на водителя, на его серую кожаную фуражку с козырьком и на коричневую куртку. Он деловито и тихо разговаривал о чём-то с подсевшим к нему пассажиром. На сельских рейсах часто случается, что какой-то бедолага в отсутствии недоброжелателей и, чувствуя свободу и внимание водителя, исповедальным тоном рассказывает про свою многострадальную судьбу. Сколько душевных исповедей выслушано водителем, только он знает. Наверное, это необходимо русскому человеку. Неожиданно кто-то крикнул.

— Эй, ты, останови!

Водитель резко развернулся.

— «Эй, ты» — пишут на заборе, запомни!

Мы переглянулись с Пашей, глядя на нарушителя спокойствия. Не обращая внимания на дорогу, которую так живо описывали великие классики литературы, я с волнением думал о первой встрече с Пал Антонычем. Какой он, Пал Антоныч, как встретит, что скажет обо мне? Паша мне рассказывал о нём немного, и я старался дорисовать его портрет, поскольку сам вырос один с матерью, встреча с ним меня волновала и беспокоила. Автобус продолжал не спеша двигаться по пыльной дороге, потрясывая на ухабах заспанных

пассажиров. Кто-то вскрикивал, кто-то поругивал дорогу. Переполненный автобус проплыл мимо усталых деревень со скошенными полями, на которых кучно лежали рулоны клевера. Лес тёмной полоской обрамлял серые поля, создавая чёткие линии в пространстве природы. Неожиданно из-за холма с тоненькими берёзками блеснула речка тихим течением и обнажила крутой берег, над которым дружной стаей высоко в небе кружились ласточки, выписывая немислимые фигуры.

Вот и долгожданная остановка. Водитель глянул на нас:

— Эта ваша остановка.

Мы кивнули и стали пробираться сквозь наставленные поклажи дремавших пассажиров. На выходе шофёр сказал.

— А знаете, здесь недалеко живёт бывший директор школы Пал Антоныч.

— Да! — ответил я. Пашка промолчал, не признавшись, что это его отец.

— Передайте ему привет от непутёвого ученика. Правда, я иногда хулиганил, но уважал его. Он был строгий, справедливый. Вспоминаю, как он меня на путь истинный наставлял, всегда спокойно и тихо говорил так, что внутри мороз прохватывал. Вот всегда его вспоминаю. Хороший был учитель...

Автобус, продолжая укачивать своих сонных пассажиров, как молодая мать — неугомонного младенца, поехал дальше, окутанный серыми клубами пыли, и скрылся за густой чащей молодых и старых высохших берёз, оставив нас на дороге. Что-то стало припекать, поднялась жара, и, очнувшиеся от душного автобуса, торопливым шагом мы пошли через чащу ярко-зелёных сосёнок на высокий берег реки, осторожно спускаясь к мосту.

Паша остановился, улыбнулся своей широкой улыбкой, показывая пальцем свой дом на противоположном берегу реки, стоявший на хуторе рядом с небольшой берёзовой рощей.

Держа в руках вещи и обувь, осторожно, по скользким брёвнам балансируя, среди провалившихся предательских досок, покачиваясь, как канатоходцы на канате, мы с трудом шли через многострадальный мост. Глядя на нас, внизу река улыбалась своим небыстрым и сверкающим течением, как бы посмеиваясь над бедными и неуклюжими ходоками и сочувствуя им. Очевидно ледоходы, а так-

же непутёвые начальники, надломили мосту его жизнестойкость. Он постепенно старел и окончательно опустел: селяне уходили на высокий берег, оставляя обжитый хутор.

— В военное время мост устоял, выдержал, провожая на войну новобранцев, — рассказывал раньше Пашка. — Ушёл на войну Пал Антоныч с вещевым мешком на плече и баяном. В то время многие уходили на фронт почти целыми деревнями. Вернулись немногие. Отец вернулся — с ранением и с трофейным баяном, подаренным немкой за её спасение, и был с ним до конца, до победы.

— А куда делся его баян? — спросил я, вспомнив прошлые наши разговоры и остановившись передохнуть.

— Когда наши солдаты отдыхали после боя, и какие-то предатели их выдали немцам, они едва ушли в лес и не успели взять баян — не до него было. Немцы, никого не увидев, кроме баяна, от бессилия и злобы расстреляли его, как живого солдата. Потом штыками его трепали, издевались и громко смеялись. Отец с горечью смотрел из танковой воронки, плакал, словно, над его душой издевались, мучили его, как человека. Фашистам он за всё отомстил, и, конечно, за баян. Паша умолк, и мы, глядя с опаской под ноги, с трудом двинулись дальше, покачиваясь на брёвнах усталого моста.

Наконец вышли на пустынный берег, оглянулись, выдохнули и пошли босиком по заросшей мягкой тропинке в сторону хутора.

Старая пыльная дорога рядом с тропинкой, заросшая по бокам зелёной порослью кустарников и молодых деревьев, поползла вверх и исчезла на горе в сосновом бору. Показался небольшой двухэтажный дом.

Мы подошли к роднику с чистой холодной и вкусной водой. Пашка частенько вспоминал его, особенно осенним, когда было очень красиво, и листья, падая и играя меж собой, забавно плавали, подгоняемые лёгким ветерком. Тогда вода в роднике была особенно вкусная и даже сладкая. А зимой Пал Антоныч, бывало, принесёт ведро воды с льдинками, возьмёшь её в рот и, как карамельку, сосёшь.

— Ох и обманщик же ты! Небось простывал?

Паша улыбнулся с таким видом, будто сейчас проглотил такую «карамельку».

— Ты знаешь, «Золотой петушок» на нашем базаре будто клеем намазан, а здесь сладкая льдинка, на всю жизнь запомнил. Наверно, вода святая была.

Паша прибавил шаг. Стали встречаться тоненькие берёзки с солнечными белыми стволами и яркими зелёными листьями, которые поблёскивали, как бы встречая нас.

У дома нас встретила раскрасневшаяся и взволнованная тётя Поля, бывшая няня моего спутника. Она, поправив на голове платок, с радостью позвала в дом. Я, стесняясь, поздоровался. Паша её тепло обнял и остался с ней на крыльце поболтать. У них было о чём поговорить, я в это время осторожно прошёл в сени. Высокая деревянная лестница прямо вела на второй этаж. Сбоку, с правой стороны, была открыта дверь. Зашёл в комнату, разделённую деревянной перегородкой на большую часть и на малую, где находилась кухня с русской печью, от которой шёл аромат чего-то вкусного. Чувствовалось, что нас ждали. С любопытством прошёл вглубь комнаты, заглянул на кухню. У окна стоял кухонный стол, с только что выпеченным хлебом, который ещё дышал теплом русской печки, а также банкой с утренним молоком. А на печном приступе из чугунка клубился неотразимый запах варёного картофеля. В большой части дома, по разные стороны стояли две старинные железные кровати. Между ними протянулся ручной работы, потемневший от времени цветастый половичок. Над старой железной кроватью Пал Антоныча свисала большая полка с пожелтевшими от времени газетами, брошюрами и книгами, казалось, что вот-вот упадёт. Но эта угрожающая полка с тяжёлой кладью каким-то странным и удивительным образом держалась на стене.

Пашка помнил всё до мелочей, что было в доме. Для него ничего здесь не изменилось. Тот же старенький половичок и берёзки, которые приветливо заглядывали густыми ветвями в окно. Небольшая его кровать стояла вплотную к деревянной перегородке. Над ней висел покрытый густой серой паутиной портфель, видимо, бухгалтерский, почему-то не застёгнутый. Рядом с Пашкиной кроватью находилась дверь, которая выходила на кухню.

Напротив кровати приютился старинный, с двумя подлокотниками и изгибистой резной спинкой купеческий диван. На нём

скромно дремал трофейный баян в футляре с побитыми углами. На стене над ним висели часы с выцветшим циферблатом и потускневшими стрелками, с редким и глухим тиканьем и наполовину высунувшейся из маленького окошечка молчаливой кукушкой. Медную, позеленевшую гирю, с длинной цепочкой, хозяин с осторожностью тревожил дважды в день, подтягивая её, с раздражающим дребезжанием, что вызывало грустные и нелепые мысли.

Напротив дивана, на широком подоконнике, стоял скромный цветок герани. Под ним стоял большой обеденный стол, он был прижат к кровати Пал Антоныча. С левой стороны стола лежали ещё с молодости хозяина выцветшие газеты, агитброшюры и запывившийся тоненький доклад Генерального секретаря. Не сопротивляясь нашествию пожелтевшей печати, рядом стоял старенький приёмник с большими послевоенными батареями.

Пал Антоныч почти его не включал, за редким исключением слушания о каких-либо важных событиях. При этом, когда начинались последние известия, приемник начинал скрипеть, шипеть, и потрескивая, попыхивая на панели, слабым огоньком старенькой лампы, угасал незлобно с последними новостями. Правая же сторона стола оставалась для семейной трапезы.

От стола тянулась длинная лавка с растопыренными ножками и упиралась в родительский сундук, обитый железом, который стоял у порога и был свидетелем долгих задушевных разговоров.

Пал Антоныч был коммунистом и агитатором, и, как говорил Пашка, отец любил, опираясь на крышку сундука, вести пламенные речи, как докладчик, иногда путал семью со школьной аудиторией. В праздничные дни к нему приходили любители обсудить новости, поспорить о политике и о советских руководителях.

Тонкая деревянная стенка делила дом на жилую комнату и кухню с русской печкой. За печкой стояла старая деревянная кровать, с наброшенными одеялами, тулупом и ещё какими-то вещами, за ней была дверь, ведущая в погреб.

— Ты не удивляйся, — сказал мне Пашка. — Здесь прошло моё детство, и ничего не изменилось после моего отъезда. Отец жил один, мать живёт в городе со старшим братом.

— Да, да, — скороговоркой подтвердила Поля. Мне хотелось ещё что-то узнать о Пал Антоныче от неё, приготовился слушать,

присел на лавку у окна, но Поля вдруг замолчала. Я неохотно переключился на окно с маленькими белыми занавесками и стал разглядывать зелёную полянку с собачками, которые резвились на ней. В деревне, особенно на хуторе, без собак прожить невозможно, мало ли что. Охрана должна быть. У хозяина были две собачки, которые изредка нервно бегали под окном в окружении деревенских лающих кобелей.

Для меня, городского жителя, всё тут удивляло. Я завидовал тем, у кого были дедушки и бабушки в деревне. Это меня притягивало. А тут такая удача — ты в настоящей деревне.

Однако Пал Антоныч задерживался по хозяйству, мне пришлось продолжать знакомиться с деревенским бытом. Из окна просматривалась старая высокая берёза, стоящая рядом с потемневшей баней. Около неё мирно и дружно паслись две козы, которые прятались, увидев кого-нибудь, и трусливо помахивали маленькими хвостиками из-за деревянного строения. Рядом был большой сарай, берёзовые длинные жерди огораживали длинный большой огород. Сливаясь с потемневшей оградой, в высокой сухой траве стояли пчелиные домики тёмно-коричного цвета, что делало их не заметными для постороннего взгляда. Пашка продолжал весело сплетничать с Полей о последних новостях и заразительно смеялся. Поля была няней у Пашки и воспитывала его на деревенских русских поговорках, которых много знала, шутила над ним, а иногда и над Пал Антонычем.

Вглядываясь в потемневшую баню, я спросил у Поли.

— Почему-то она сильно чёрная — старая, наверное?

Поля поймала мой взгляд, ответила с улыбкой.

— Это баня по-чёрному. Ты наверняка заметил, что она без трубы?

— А почему?

— А потому что надо было её истопить быстро, и дров немного надо...

Неожиданно замолчала и тут же запричитала.

— Ой, чуть не забыла, Пал Антоныч её уже истопил? Наверно, она уже готова? Он сказал, как приедут ребятишки, отдохнут немного — и быстро в баню.

Мы с Пашей сразу засобирались. Поля дала чистое бельё.

По реке стелился белый туман вместе с чёрным дымом. Мне показалось, что там, на высоком берегу, вся деревня топит бани по-чёрному. Пока шли, разглядывая вечернюю реку с туманом, незаметно подошли к бане. Пашка быстро зашёл, я за — ним, и растерялся, осторожно оглядываясь, куда я попал? Было темно. На окне стояла, испуская слабый огонёк, старенькая керосиновая лампа. На стенах двигались наши тени. Постепенно я привык к темноте и разглядел большой котёл с кипящей водой.

Под ним синими огоньками тлели красные угли. Было очень жарко.

— Ну что, мужики, раздевайтесь! — донеслось с верхней полки. — Двери плотно закрывайте, а то жар выходит...

Пока мы раздевались, мгновенно вспотели. Пот лился по спине горным ручьём. Пашка хитрый, знает, где спрятаться от этой невыносимой жары. Всё-таки в деревне вырос, успел на нижней полке вытянуться. Ещё друг, называется! К нему уже не подойти, а мне осталось без радости и с печалью быть у этого зловещего котла, который не давал мне хоть немного развернуться. На моё счастье в углу стояли два ведра с холодной водой. Это было спасение от жары. Пока я привыкал к необычной обстановке, с верхней полки, из густого тумана, раздался строгий голос, как на старте:

— Поддайте-ка, мужики, ещё пару! И побыстрей...

В темноте, и почти теряя сознание, я едва нащупал ручку ковша, зачерпнул кипящей воды из котла и, не помня себя, вылил пузырчатую воду на каменку. Ударил сильный густой пар, зашипели камни. Мне сразу стало плохо. Каким-то чудом я выскочил из бани на улицу, в чём мама родила, и распластался на траве. Вечерняя роса и лёгкий ветерок с реки с терпкими запахами трав привели меня в чувство. Надышавшись прохладным вечерним воздухом, я снова решил, как в атаку, влететь в преисподнюю.

Котёл продолжал испускать огромные пузыри кипятка, каменка трещала, огонь под ней переливался из ярко красных в фиолетовые огни, как в мартеновской печи. Невыносимо жгло мои руки, ноги, плечи, всё тело у этой чёртовой каменки. Глаза заплыли от пота белой пеленой. Мне показалась, что из углов чёрной бани выскочила ватага прыгающих чёртиков перед моими глазами с поросячьими мордами и с козлиными рогами. Визжат, рожи корчат, бьют ногами

по краю дышащего большими пузырями котла. Наконец-то услышал, как визжат черти в бане. Жара выжала из меня, как из мочалки, воду, она стекала по телу крупными ручьями пота. Волосы сбились у меня на голове и встали огромным комом, похожим на осиное гнездо. Всё смешалось в этой жаре: и адский пар, и огромные пузыри, и чёртики. Я с досадой стоял перед чёртовым котлом: и как это выдержать в том аду без шапки. Просто невозможно. Тётя Поля, дай ей Бог здоровья, забыла про этот очень нужный в бане убор.

— Эй, плесни на каменку, — вновь послышался торопливый голос из глубины на верхней полке. Паша засуетился с ковшом воды у котла. Каменка выдохнула очередной невыносимый для меня адский жар. Мгновенно всё исчезло в этой мгле у котла, только скакали слабые пугливые тени от лампадки на стене. В глазах начали опять прыгать чёртики. С трудом ополоснулся и вылетел, как ошпаренный, из бани. Вздохнул свежим воздухом, глянул на ночное чистое небо с яркими и весело блестящими звёздами. Густой банный пар окутывал меня. Я лежал на прохладной траве, постепенно приходя в себя, и с наслаждением услышал, как мягко шелестит ветер листьями берёз, услышал неиссякаемый треск насекомых — и восхитился перемигивающимися синенькими огоньками светлячков. Вот оно счастье!

Вскоре из бани выскочил и Пашка. От него исходило огромное облако пара.

Дышал как рыба, выброшенная на берег. Он шлёпнулся рядом на прохладную траву с ночной росой и закрыл глаза. Первые минуты молчал, потом вздохнул глубоко, хитро спросил:

— Ну, как эта баня, по— чёрному?

— Не баня, а чёртов ад, — неожиданно вылетело из меня, хотя, лёжа на траве, я испытывал невероятное блаженство, словно родился заново.

— Если это ад, то ты бы там и остался, а то говоришь какую-то чушь, — воспротивился Пашка.

— Да ладно, не ругайся, я просто не ожидал вот такую баню. А Пал Антоныч не угорит?

— Да нет, он к такой жаре не только привык, он жить без неё не может. Она его лечит. Всё-таки война, а ещё раньше гражданская,

во время которой тут за нашим домом на хуторе пришлось ему по многу часов лежать в снегу незамеченным. Наш дом по нескольку раз в день брали и белые и красные. В нашем доме был то штаб красных, то белых...

Пар ещё висел над нами, мы наслаждались ночным небом и тишиной.

— Отец был вообще не хилым человеком, — продолжал Пашка. — За баней, внизу, бежит река, помнишь, мы её переходили по мосту? Раньше по этой реке, говорят старожилы, плавал Стенька Разин, может, правда, а может, и нет, а сейчас она обмелела, стала небольшой. Так вот на спор перед деревенскими девчонками, когда был молодой, он перепрыгивал её. Вот. А потом брал баян — и до утра гуляли. Водили хороводы... Вообще, заводной мужик...

— Однако, надо бы проведовать его, не угорел бы, — сказал я Пашке.

— Отец сказал: «Через час приду».

— А что, эта баня по-чёрному давно у вас?

— Да, ещё в столыпинские времена наши предки переехали из Латвии на западный Урал в тайгу. Лес вокруг дома раскорчёвывали да вспахивали эти поля. Тяжёлый был труд, как рассказывал отец. Первое, что построили — это баню, и топили её без трубы, открывали дверь на улицу, и дым шёл через открытые двери. Не так много дров надо было, и быстро нагревалась. А во-вторых, жара была такая, что всю хворь вытаскивала и лечила. После войны с фашистами у него что-то с позвоночником случилось, так его баня спасала.

По небу чиркнула звезда, оставляя яркую, как тонкую нить, полосу. Стало прохладнее, мы оделись в чистое бельё, которое нам дала Поля.

Пашке было проще, ведь он надел своё домашнее бельё. А мне на время Поля дала старенькую рубашку Пал Антоныча. Пришлось загнуть рукава и штаны, пошли босиком, разгоняя росу по траве с переливающимися огоньками светлячков. Дома Поля уже ждала с ужином. На столе стояла сковородка с жареной картошкой на сале, капуста квашеная, крупно нарезанный кусками с корочкой домашний хлеб. Тонкие пластины домашнего сала слегка свисали с края тарелки, вперемежку с копчёными кусками мяса. Бочковые огурцы

издавали терпкий запах солёности. Часы уже показывали время глубокого сна. Гиря на длинной цепочке уже задевала спинку дивана, на котором лежал аккордеон.

Поля, стараясь создать праздничный настрой за столом, часто включала маленький радиоприемник, заваленный старыми газетами, который пытался выжать изо всех сил скрипучий и немощный сигнал. Хотелось есть. Паша с широкой улыбкой намекнул мне.

— Попробуй!

Я потянулся с вилкой к картошке, чтобы попробовать, пока Пал Антоныч ещё не пришёл. Тут произошло невероятное. Неожиданно я уловил тонкий запах копчёного мяса, и каким-то странным образом он зависал в воздухе. Меня насторожило. Я взял кусочек с тарелки, но там совсем другой запах. А этот появлялся, когда я тянулся к сковородке. Убираю руку, он исчезал. Так я проделал несколько раз. Эффект был тот же самый. И тогда протянул руку к лицу, меня осенило: это моя рука издаёт запах копчёного мяса. Поля увидела мою операцию с движением, заулыбалась и хитро сказала:

— Это баня по-чёрному, — потом добавила, — Пал Антоныч, когда парится, так тело его после бани три дня копчёным мясом пахнет, не французскими духами.

— Ничего себе, закоптился! — с удивлением воскликнул я. Так после бани меня, копчёного, можно и на базаре продать. Не отсюда ли пошло знаменитое прозвище «копчёный».

Я спросил испуганно у Поли:

— Это копчёность надолго?

— Да нет, к утру всё будет нормально, — с интонацией знатока сказала, хитро улыбаясь.

Меня это успокоило. Терпеливо сидим у накрытого стола. Меня вдруг заинтересовал висевший на гвозде над кроватью портфель.

— Любопытно... это, наверно, интересная история? — задал Пашке вопрос.

— Завтра я тебе всё расскажу, а теперь давайте ужинать без него.

Поля тут же согласилась. Кто-кто, а она знала привычки хозяина. Уже в кровати, за печкой, в другой половине дома, которую делит деревянная перегородка, я лежал и думал о Пале Антоныче. Пар продолжал ещё приятно гулять по телу, вместе с впечатлениями от

долгой дороги, я незаметно уснул. Наутро встал и вышел на улицу. Светило яркое утреннее солнце. Воздух был прохладным и свежим. Недалеко пели птицы в берёзовой рощице, небольшой ключ поблескивал чистой водой из-под упавших листьев. Вечерняя тропа, с угасшими светлячками, идущая к бане, ещё держала утреннюю росу. Поля с веткой в руке торопливо погнала в поле двух породных коров с бычком к деревенскому стаду. Вернулась в дом с утренним парным молоком. Я вышел из дому, дошёл до знаменитой тёмной бани, открыл низкую потемневшую от дыма дверь, баня выдохнула остатком пара с запахом копчёности, и мне пришлось невольно окунуться в атмосферу вчерашнего угара. Сразу вспомнился через плотный пар несущиеся с верхней полки решительные слова Пал Антоныча: «А ну-ка ещё поддайте, ребятки, пару!». В голове сразу потемнело, я выскочил из бани и закрыл дверь. Недалёко паслась на утренней траве привязанная к берёзе коза. Увидев меня, быстро спряталась за строение, оставляя торчащие длинные рога. Пока все спали, всё-таки решился дойти до родника. Зелёная тропинка вела в берёзовую рощицу, прямо к роднику.

Наклонился к нему, убрал опавшие листья и набрал в ладонку, испил ключевой воды. Стало легко и радостно, ещё держалось чудное банное тепло, растекаясь внутри тела, встречаясь с холодком родниковой воды.

Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как этим ранним утром.

Спасибо этому уголку в этой рощице, что сохранил этот удивительной чистоты родничок...

Заглянул в окно дома в комнату, увидел Пашку, он ещё спал.

На пороге меня встретила тётя Поля с охажкой дров, она торопилась затопить печь. Увидела мой расстроенный вид, спросила:

— Что случилось?

Я развёл руками. Она меня поняла.

— А Пал Антоныч пришёл поздно из бани, почти ранним утром, увидел что на его кровати уже спит его сын и, чтобы не будить его, ушёл спать в сарай на сеновал. Он часто так делает. Сеновалит, как в молодости, — хихикнула она. К обеду Пал Антоныч уже в сарае отбивал косы. Я набрался смелости, заглянул туда, откуда раздавались звуки молотка. Большой сарай был завален сеном до потолка. К

нему приставлена высокая лестница, у которой сидел Пал Антоныч на самодельной табуретке, в белой банной рубахе и серых штанах, в больших ботинках, из которых выглядывали шерстяные носки, видимо, ручной работы. Он был крепкий, широкоплечий, на голове в редких седых волосах проглядывала небольшая лысина. Перед ним лежало толстое бревно с «бабкой», на которой он и отбивал молотком лезвие косы.

— Проходи, — сказал, поворачиваясь ко мне и продолжая стучать.

От волнения вдруг у меня вырвалось: «Здрасьте!». Пал Антоныч, глянул на меня изучающе:

— Так, значит из города?

Продолжал меня разглядывать.

— Да, из города, — решительно ответил я. На его лице едва засветилась улыбка, похожая на Пашкину. Мне стало немного полегче.

— Как вчерашняя баня? Не угорели с дороги?

— Да нет. Уж больно жаркая. Первый раз в такую баню попал. Да она такая чёрная, что успел даже закоптиться, как окорок. Руки до сих пор пахнут.

Пал Антоныч засмеялся.

— Вот считай, что прижился в нашей деревне. Как бы прописку получил. У нас все приезжие через баню проходят, — продолжал улыбаться. Он сильно стукнул по косе в подтверждение своих слов. Зазвенела коса, тут же испуганно прокричал петух за сараем.

— В суп он давно просится, неоципаный, — ответил на крик петуха. — Недавно что-то сильно захромал и кричит до обеда, как скрипучая телега, только куриц пугает, а они перестали нестись, — заботливо проговорил Пал Антоныч. — В честь вашего приезда оципем его — и на ужин с жареной картошечкой...

На следующий год, когда у нас были каникулы, мы снова, как в прошлый раз, приехали в деревню. Поля, как всегда, нас встретила с теплотой, немного постарела, немного осунулась. После моего прошлого отъезда, в доме ничего не изменилось. Всё было по-прежнему. Та же полка, которая продолжала свисать над кроватью, и казалось, вот-вот упадёт, и, заваленный жёлтыми газетами, стол у окна, и маленький приёмник с большими батареями. На том же месте стояла

большая лавка, упёршись в большой сундук, обитый железом. Над Пашкиной кроватью так же, не меняя своего места, висел портфель с седой паутиной и налётом серой пыли. Мой взгляд остановился на портфеле: лучом солнца высветился его медный угол. Мне показалась, что в нём кроется какая-то тайна. Паша долго за мной наблюдал.

— А чей это портфель?

Пашка, поправляя очки, сказал:

— Неизвестно чей. Вообще, в нашем доме много любопытных вещей. Может быть, ещё при реформе Столыпина, когда мои предки прибыли на свободные уральские земли, случайно, а может, и нет, привезли с собой и этот портфель. Даже тётя Поля, от которой невозможно было утаить или что-то спрятать, но даже и она не могла припомнить, как он появился здесь, и когда повесили его над кроватью. Я всё своё детство смотрел на него как на картинку...

Пашка, попивая душистый с лесными и полевыми травами чай, который собирала Поля, поведал, что ему было строго наказано не трогать его.

— Что там было, никто так толком и не знал. Повесили, так он висит. Потом в суете и вовсе о нём забыли. Так он с годами постепенно покрывался паутиной. А тут пришла гражданская. Дом по нескольку раз в день захватывали то белые, то красные. Отец вынужден был прятаться в поле недалеко, где лежал помногу часов в снегу, ждал, когда уйдут солдаты. С тех пор и простудил позвоночник. Только белые уйдут, он сбегает домой, схватит что-нибудь поесть и опять на поле в снег, и за домом наблюдал, пока не уйдут. Штабом был дом и у красных и у белых. Ладно, хоть не спалили. А портфель всё висел и висел...

Когда Пал Антоныча не было дома, мы осторожно сняли портфель с гвоздя и, волнуясь, поставили на стол. Паша аккуратно смахнул с него пыль, отёр чистой тряпочкой до блеска (я за ним такую аккуратность прежде не наблюдал), потом осторожно засунул вовнутрь руку, вытащил её, перевернул и потрянул портфель. На стол посыпались тяжёлые серебряные монеты с чеканкой Николая II.

— Это же клад! Вы же богачи! — воскликнул я и увидел главную находку — два георгиевских креста... В то время боролись с

историей царской России, да и всей прежней историей в нашем сознании. Мы с любопытством стали рассматривать удивительную находку. Я никогда не видел настоящих николаевских денег. Но особенно меня потрясли георгиевские кресты. Я взял один орден в руки и стал рассматривать.

И чем дольше держал в руке этот знак высшей военной награды, меня охватывало странное волнительное чувство. Продолжая разглядывать орден, как-то по-детски погладил георгиевскую ленточку, и невольно прижал к груди. Что со мной было?

Возможно, это было общение с далёким русским воином, героем первой мировой войны, с тем, кто сохранил славу русского солдата для нас, чтобы помнили и не уронили её.

В это время Паша посчитал монеты, это была большая сумма на современные деньги. Мы собрали всю уникальную находку, и аккуратно положили на место, пусть остаётся, как было, как хотел хозяин.

Вот так мы узнали тайну этого портфеля.

Пашка загадочно поднял указательный палец и повёл меня на второй этаж дома. По узенькой лестнице поднялись в большую комнату, посередине лежала большая куча овчинных шкур. Над лестницей висели два огромных окорока. Палец Пашки продолжал загадочно указывать на дверь его детской спальни. Открывая со скрипом застеклённую дверь, мы увидели железную кровать и напротив неё у стены стоявший высокий, до потолка, старый шкаф с какой-то литературой. Я стал с интересом разглядывать полки с книгами.

— Здесь самое полное издание работ Ленина, — услышал торжественное восклицание Пашки. Отведя взгляд от полки с книгами, увидел, как он, поднимая свой указательный палец кверху, широко улыбался, словно при взятии снежного городка. — Тут есть такое же полное сочинение Сталина, — продолжал с хитрой и какой-то загадочной улыбкой.

И он был прав, все сочинения были в разных изданиях. Всё бы ничего, но как-то странно сочетается в детской комнате радостные впечатления от погремушек, мишек, собачек и пупсиков — и творчество великих философов и государственных деятелей.

Мне подумалось, это и есть мудрое воспитание, родившееся в глубине марксистских революционных замыслов и партийного

духа. Паша понял, но повёл себя странно. Он долго всматривался в шкаф и сильно морщил лоб.

Вдруг он резко протянул руку и достал тяжёлый фолиант.

— Теперь почитаем наших классиков, — загадочно улыбнулся. — Вот сочинение Ленина, том второй, — открыл книгу и стал листать. После первых страниц, мне показалось, были и другие страницы, причём меньшего размера. Он продолжал листать, и я увидел, что между страницами аккуратно лежат купюры. Это были деньги послевоенных лет. Пашка продолжал улыбаться и взял другой том, с ловкостью фокусника перелистывал страницы — между ними лежали купюры. Так было и с любой книгой, которую он бы ни открывал. Мне показалось, что я попал в сейф банка.

— С полным собранием сочинений Иосифа Виссарионовича происходила та же картина, — сказал Пашка. — Отец был директором школы и свою зарплату доверял этим революционерам, так будет надёжнее.

Ошарашенный увиденным, я некоторое время молчал. А улыбка Пашки не уходила с лица. Указательный палец вёл нас обратно — вниз на первый этаж.

С упорством кладоискателя он повёл меня в погреб.

Вот она, потемневшая дверь, ведущая в погреб. Над ней не хватает только картины с папой Карло. С трудом открыли её. При тусклом свете маленькой лампочки я разглядел посреди погреба большую плетёную корзину, кажется, с зерном. Неяркий свет от лампочки уходил вглубь помещения, высвечивая неровный строй разнокалиберных бутылок с разными наименованиями вин. Я удивился этому и подумал: интересно, что за секрет у Пал Антоныча, коль тут такое разнообразие вин и в столичном магазине не найти. Пашка старается меня удивить: ведёт то к книжному шкафу — эдакий самодельный сейф с ассигнациями, то на склад редких и популярных ликёроводочных изделий, то ещё к секрету одинокого дома с берёзовой рощей, как в фильме приключений. Какой удивительный и загадочный Пал Антоныч.

— Это у него такая местная валюта. Она помогает сено косить и дрова рубить, — Пашка неожиданно замолчал, вслушиваясь в тишину. — А теперь самое главное, КОРЗИНА! — многозначительно произнёс он шёпотом, показывая на неё вездесущим пальцем.

— Она выучила не только меня, но и старшего брата, когда он учился в институте. Этот страшно жуткий секрет, долго никому мама не рассказывала о нём. Я уж потом узнал, эта корзина и сейчас функционирует!

— А как? — тревожно спросил я, боясь вот— вот придёт Пал Антоныч.

— Не волнуйся, я всё рассчитал.

— Ох, уж эти секреты в замке привидения, — насторожился я.

Вообще-то, сей Пашка, уральский следопыт, этакий Шерлок Холмс, любит интригу...

Посреди погребка при слабом свете мне показалось, что стояла перед нами большая плетёная корзина с зерном. Пашка сильно нагнул над ней, актёрским жестом правой руки, воткнул ладонь глубоко в корзину. На мгновение застыл, стал что-то нащупывать. Лицо выражало сосредоточенность, и где-то в уголках рта теплилась надежда, выражалась едва заметной улыбкой кладоискателя. Неожиданно вырвал руку из корзины, будто испугался чего-то. Вдруг стал быстро перебирать и ворошить зерно. Движения были отработанные до профессионализма. Вдруг на поверхность стали появляться какие-то бумажки. На тусклом свете они загадочно выглядели. Меня встряхнуло, когда, поднеся к тусклой лампочке бумажки, при неполном свете разглядел: это были деньги разных достоинств. Да ... это были настоящие деньги. И пятёрки и десятки с образом вождя.

Удивительно, какую надо иметь жизнеутверждающую волю, как у узника замка Ив, романтическую фантазию и прагматическую настойчивость...

Ах ты какой, Пал Антоныч! — воскликнул бы неизвестный герой приключений и матёрый кладоискатель за столь хитроумное умение прятать деньги.

Впервые решил попросить Пашку ещё раз перерыть волшебное зерно в корзине. Опять удача. Я говорю Паше — ты скрытый миллионер. Он едва улыбнулся загадочной улыбкой, ему предстояло открыть ещё одну тайну Пал Антоныча. Я уже с нетерпением ждал его указательного вездесущего пальца, как заправского миноискателя, который вёл бы к потайному месту, о котором не может и мечтать простой человек.

Воинствующий и вездесущий перст водил нас, то на второй, то на первый этаж. Пашка на ходу постоянно с трудом вспоминал, а где ещё?

Хозяйка дома, Поля, поняла, что мы ищем. Что, что ... а она-то знала все секреты Пал Антоныча и повела к гостевой кровати, которая стояла на задах русской печи, на которой я провёл первую ночь, кстати, не очень-то уютная. Когда впервые спал на ней, всё время что-то мне мешало. Постоянно что-то торчало и давило в бок. То ноги приходилось высоко задирать, то голова лежит неудобно, как на плоском камне, то запах многолетней овчины не давал спать всю ночь. Но самое удивительное, утром как никогда себя чувствовал прекрасно и замечательно, словно новорождённый.

Неужели тоже самое чувство испытывали приезжие гости? Годы на этой кровати ничего не менялось и до редких гостей и после, а потом в этот закуток за печкой никто и не заглядывал. Как на складе всевозможных вещей, оставались шубы и пальто, овчинные шкуры и деревянная прялка, и всякая всячина.

Поля взяла керосиновую лампу и, подойдя к кровати, поднесла её к стене. Высветилась между брёвнами старая сухая пакля, которая спрессовалась в корку. Тут произошло самое удивительное: она осторожно ковырнула пальцем паклю, она легко отвалилась, и Поля извлекла из щели завернутую в трубочку ассигнацию. Я охнул от удивления.

Пашка засмеялся. Такого я ещё не видывал. Чтоб хранить деньги таким способом, здесь нужна смекалка разведчика либо тайного агента и шпиона. Поля продолжала ковырять паклю и доставать деньги, которые давно уже устарели. Неожиданно хлопнула входная дверь. Зная, что вот-вот должен прийти Пал Антоныч, мы сразу прекратили свои поиски. В эту сухую паклю обратно на место деньги не вернёшь. Наверное, таким необычным, казалось бы, странным образом сохраняя нажитое добро, развивало уникальную способность русского человека решать непростые житейские проблемы: тут тебе и касса, тут тебе и банк.

Так, за загадочным портфелем потянулась ниточка интересных историй.

Не для рассказа о странностях Пал Антоныча — о жизни, в которой он существовал. Впрочем, как и каждый из нас, живущий в разные периоды своего бытия, тесно связан с укладом жизни народа.

Человеческая странность — она как река, имеет свои берега, живёт по своему природному закону крутого поворота и тихого движения, где заторы и заносы, где появляются мелководья и песчаные острова, и долго ли останутся они в жизни этой реки, если вдруг резкой поворот, течение обрушит и смоем высокий берег, оставляя непреодолимые камни. Всё это может быть странным, что разрушает привычное восприятие жизни, казалось бы, уже сложившихся законов природы. И не эти ли странности, как глубина души, которые не каждому под силу, как густой туман, оставляют свои следы, в памяти другого человека о нём...



КОЛЯ, ДАВАЙ!

На станцию Верещагино мы приехали рано утром в душном вагоне, где ещё крепко спали пассажиры после вечернего ужина. Постепенно, с уходом ненавистного поезда, и старого послевоенного времени вагона, мы почувствовали, как в чистом утреннем воздухе стал растворяться запах и стук колёс, напоминающий барабанную дробь. Не только чистый вид перрона, но и пение птиц, как-то особенному встречали нас. Лёгкая роса ещё держалась и сверкала в траве, которая зелёной полоской пробилась сквозь асфальт у самого фундамента здания вокзала и блестела в лучах утреннего солнца.

«Ну что, приехали!» — с внутренним радостным восторгом тихо сказал я себе. Мой друг Пашка понял меня и сдержанно улыбнулся.

Впрочем, ехать ещё долго. Но задержались на стоянке — только после обеда прибудет автобус. Поэтому вынуждены до отъезда поставить на свободную скамейку свои сумки и балалайку в крепком потёртом футляре. Не успели освоиться, откуда-то появилась собака, явно привокзальная. По-хозяйски осмотрела наши вещи, старательно принюхивалась, наверно, почувствовала запах нашего ушедшего вагона. Он оказался терпкий, с примесью вечернего народного ужина, что заставило её прищурить глаза и чаще дёргать кончиком носа, смахивающего на напёрсток.

Фыркнула, дёрнула ухом, как бы не довольная, и повернув голову немного назад, глянула на нас с Пашкой, пыталась приветливо махнуть хвостом, но передумала, опустив голову: сказалось при-

родное мудрое чутьё; в наших вещах был один обман, и — никакого угощения. Слегка нервно дёрнулась в сторону и независимо прошла мимо нас. Но обернулась, видимо, надеясь хоть на ласку приезжего. Стоило чуть губами пошевелить, привокзальная эта собака, до приезда автобуса, была бы товарищем от скуки. Но сделали равнодушный вид, что её не замечаем. Ох, как этого она хотела и ждала! Всё-таки как-никак многих она повидала людей, и поэтому выработалось у неё собственное поведение. Утром, когда свежо, она ляжет в прохладу, прячась от жары, будет и ждать вечернего поезда, когда с электрички пойдёт бойкий народ. Он её обласкает и подаст что-нибудь поесть. Судя по шкуре собаки, явно она пользуется вниманием приезжих и отдыхающих...

Пока я с интересом наблюдал за собакой и представлял её собачью жизнь, мой товарищ внимательно, старательно изучал то ли расписание, то ли объявление, которое было высоко прибито к столбу и написано мелким кривым почерком. За этим занятием провозился бедняга полчаса.

«Хоть подпрыгивай» — возмущаясь, манипулируя очками, сильно вытягиваясь, приближая их к расписанию, то снова надевал, то горестно вздыхал, то нелепо подпрыгивал, тихо ругаясь. Я помочь ему ничем не мог, только посочувствовать. Ну, да ладно. Мне в это время было приятно смотреть на воробьёв, какие-то они странные и милые, похожие на маленькие локомотивчики и вагончики, словно по рельсам вокруг нас снующие, делая забавные круги, чётко сохраняя дистанцию меж собой.

За такой спектакль должно быть вознаграждение. Достал хлеб и мелкими крошками начал угощать непрошенных гостей, к тому же ещё и сильно чирикающих. Собака рядом даже хвостом не вильнула, фасон гордо держит. А вот пичужки эти меня веселят, прыгают, последние крошки собирают.

Друг что-то тоже жевал, глядя на доску расписания. И что хорошего в ней — высоко, и не видно. Видимо, у него своя борьба за информацию. Тоже занятие. Тихое, незаметное, глубокомысленное.

Утренний освежающий ветер шёл из лесочка, похожего на небольшой парк. Солнце стало припекать. На автобусной стоянке толпились пассажиры. Неприятно потянуло куревом. Я его не люблю, а особенно, когда портят такой чистый воздух, идущий из лесочка.

Вдруг кто-то тычет в моё плечо: «Ждёшь автобуса?» Я кивнул.
— А это твои вещи? — показал пальцем. — Это твоя? — повторил резко и упёрся пальцем в футляр.

— Ну, — откликнулся я. — Ну, моя!

Однако, нахальный. Гляжу: один из его группы, настырно идёт на меня, хотя сильно трусит. А троица сзади лениво вразвалочку идёт, строго соблюдая дистанцию, то подходят, то отходят. И так несколько раз, спектакль ... по Станиславскому...

Вот забава-то!

Внезапно воробьи улетели. Видимо, их кто-то вспугнул. «Балалайка — твоя?» — опять услышал откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел огромного парня, стоящего надо мной. Не вынимая руки из кармана брюк, нагибаясь, он ещё раз спросил: «Балалайка — твоя?». Тут-то я и разглядел его щетинистое заросшее лицо, с окурком во рту, дымящее вперемешку с перегаром. Рот продолжал делать некие вопросительные движения. С высоко задранными на лоб бровями, стреляющим недобрый взглядом, он махнул головой:

— А што?

— А ништо, — ответил я. «Вот, наконец, товарищ понял», — кивнул головой, не разгибаясь, не вынимая руки из карманов брюк. Рот продолжал жевать остатки папиросы с истлевшим табаком. Брови ещё висели высоко на лбу.

— Коля, давай! — крикнул он куда-то в сторону. Поверх ожидающих. И рукой замахал, приглашая кого-то. Мне стало не по себе. Зачем ткнул своим грязным пальцем в мой футляр? Что ему за дело до него? Я напрягся, и мой друг Пашка стал нервно поправлять очки. Как же было хорошо, тут тебе и птички, и свежий ветерок из лесочка, и солнышко как-то весело светит, тут собачка рядом лежит мирно и тихо. Мечтали уже вечером и в баньке попариться, да потом и в соседнюю деревню сходить на танцы. А тут... «Коля, давай!» Кто такой Коля? Что за субъект такой? Наверное, главный у них в компании эта с тыкающим пальцем привокзальная фигура, с полуизжёванной папиросой во рту, которая держала своей напряжённой позой с машущей рукой остальных людей на остановке. Интересно, как этого верзилу звать? Наверное, Вася или Петя? Может, нет. Бог его знает.

Вдруг верзила обмяк немного, выдавил из огромного рта, жующего остатки папиросы: «Идёт». И тут началось. Мы ещё не успели

отойти от дурно пахнущего вагона, насладиться чистым воздухом. А тут: «Коля, давай!»

Коля оказался стройным, среднего роста. Шёл лёгкой походкой, мягко ступая. Лицо закрывали длинные волосы. Но какая-то часть оставалась открытой. Встречный ветер ласково трепал волосы, иногда полностью открывая лицо.

Толпа напряжённо всматривалась в идущего человека. Лежавшая недалеко собачка резко встала и пошла за «Колей, давай!».

Мне показалось, время замедлилось, и напряжение моё переросло в невесёлое предчувствие ...

Верзила ещё раз резко махнул рукой в сторону. Потом опять ткнул меня своим грязным пальцем в плечо, мотнул головой в сторону футляра с инструментом. Я понял, что делать нечего, и подал футляр с инструментом.

Люди на остановке с любопытством следили за этим необычным событием.

Верзила «Толи Вася, толи Петя» достал из футляра мою студенческую балалайку, за которую я нёс особую ответственность перед педагогом, так как инструмент числился за ним. Она мне и нужна была для репетиций, где бы я ни находился, повышая свою квалификацию, а проще ученическое умение, хотя бы на «хорошо». Вот и взял я её в гости к другу в деревню, может, где ещё и сыграю. Он давно местным деревенским девчатам обещал, что привезёт «Оказию», которая сама играет. Всё это пролетело у меня в мозгу со страшной скоростью. Даже выступили капельки пота на лбу.

Но откуда этот верзила выпал? Наверно, караулит тут, следит за приезжими. Эх, не повезло нам. Грязной рукой держит мой инструмент. Может, у него зараза какая-то там водится, кто его знает?

После таких рук инструмент перестанет играть и звучать, как надо. Что за леший такой?

На остановку автобуса с любопытством подтягивался народ.

«Коля, давай!» — вновь прорезало мои уши и громом прозвучало над толпой. Передо мной пробежала собака, мне она показалась беспокойной.

Было в ней что-то нервное, решительное, может быть, и агрессивное. «Вот черт, какой верзила. Так собаку привокзальную подчинил себе». В голове ходили пугливые мысли.

Вдруг, уже окруженный толпой, я услышал звуки моей балалайки. «Пробует, наверное», — подумал. Так всегда, когда берёшь чужой инструмент, так и пробуешь с первых звуков, примет тебя он или нет. Но звуки стали более твёрдыми и решительными. Зазвучал аккорд, потом другой, третий. Я встал, решил протиснуться сквозь толпу. Но напрасно. Думаю, ладно, и тут постою. Пашка был рядом с играющим. Это меня успокоило.

Из назойливых трёх аккордов появилась какая-то плясовая, я пытался разобраться: то ли камаринская, то ли барыня. Какая-то смесь. Но лихо.

Вдруг эта смесь потихоньку перешла в мелодию, и зазвучала она необычно.

Такой мелодии я не слышал... Наверно, местного звучания. То тихо она звучит, то набирает силу, потом резко обрывается. Что это за балалаечник так умело разыгрался?

Народ притих, слушает, каким-то единым дыханием поддерживает игру умельца. Стало ещё тише, я уже еле различал звуки. Но напряжение толпы не спадало, внимательно смотрят и слушают. Он, наверное, перестал играть, но звуки словно притягивали серебром к себе. Уж больно волнующая тишина. Такой тишины я давно не чувствовал. Особенная какая-то. Чистая, светлая и нежная. Что за наваждение такое? Пытался понять. Из толпы, где играл балалаечник, ровно шёл табачный дым. Мужики коптили, как трубы печные в сильный мороз, когда стоит удивительная тишина в яркий день солнечный. И только потом догадался я, что он играл тихо так, что едва идущие звуки задевали глубокие чувства, трогали и сердце, с тремолирующим волнением объединяя души пассажиров.

Я почти отвлёкся от музыки, но вдруг услышал, протяжный как паровозный гудок: «Ко-о-ля, давай!». Какой противный голос этого верзилы! Но властный. Вдруг зазвучала весёлая плясовая. Да ярко так, и свежо, и необычно. Автобусная толпа в одном порыве зашевелилась, стала перетаптываться с ноги на ногу. Затряслась. Задвигалась. Зашевелилась.

Из толпы быстро выскочила собака с резво виляющим хвостом. Я протиснулся, увидел картину: сидит на заботливо подставленном старом, крепком чемодане «Коля, давай!», рядом с ним с шапкой в руке верзила «То ли Вася, то ли Петя», а перед ним выплясывают два

добровольца-танцора. Да широко так, размашисто, под мою балалайку в руках длинноволосого музыканта. Заразительный азарт тут же передался толпе. Люди яростно хлопали в ладоши, поддерживая плясунов и балалаечника. Не теряя времени, видя, как народ расслабился, повеселел, и «то ли Петя, то ли Вася» стал пританцовывать.

И вся автобусная остановка, как единый организм, зажила весёлой мелодией «барыни».

Верзила, сильно пригнувшись, с шапкой «прошёлся» по толпе. Мелочь посыпалась в шапку.

Зазвучали то камаринская, то «рябина кудрявая», то «цыганочка», ещё и ещё...

Неожиданно подъехал автобус, народ засуетился, засобирился, задвигался. Я уже хотел забрать свою балалайку, как вдруг услышал детский голос: «Бабушка, а у балалаечника пальцев на руках нет. Как на радио играет». Но ей было не до этого. Она тянула в другой подъехавший автобус свои сумки вместе с внуком. А он, громко плача, размазывая слёзы по щеке, твердил: «У него пальцев нет на руке! ...У него пальцев нет, бабуля!»... Из его груди вырвался детской стон непосредственной и искренней правды...

«Да, этого не может быть... не может быть», — пронеслось у меня в мозгу, не веря мальчику.

Народ потихоньку рассосался в автобусах. Но нашего автобуса не было. Мой товарищ Пашка принёс балалайку с футляром. Он-то был рядом с музыкантом, оберегал и инструмент. Я всё-таки решил подойти да поговорить с «Колей, давай!». Он стоял один, без чемодана, на котором сидел, тот уже укатил на автобусе. Чего-то ждал. Вид взволнованный, в карманах руки. Мокрые длинные волосы обрамляли раскрасневшееся лицо. Я увидел голубые глаза, правильные черты лица, тонкие губы. На нём не было налёта привокзальной жизни. Чуть опирался на левую ногу...

Я вдруг снова услышал ту тихую мелодию, едва различимую, но волнующую душу. Словно тихий разговор матери после отца встречи. Сердце нежно и тихо пело о родном...

Когда я очнулся, то увидел, как спокойно, мягко ступая, уходил от меня «Коля давай!»... Хотелось за ним последовать... побежать... Потрогать его руки, которые делали волшебство. Но что-то меня

сдерживало и странно тянуло к его игре. Его необычный вид отличался внутренним благородством. Что за талант скрывается в душе его? Почему на вокзале? И что за верзила его опекает? Может, это злой гений своей страстью выжигает то, что ему необходимо, и даёт раскрыть возможности свои? А за услуги отщипывает крохи от своего благополучия... Странно как-то... Наверное, у каждого гения должен быть злой друг?..

Тут подъехал и наш автобус, мы быстро сели; не отрываясь от окна, я долго и безразлично смотрел на дорогу, на проезжаемые леса, поля вдоль больших и малых деревень. С чувством странным от музыки, мальчика, от «Коли, давай!» и от верзилы, от всего, что случилось на вокзале ...

— Эй, студенты, — обратился к нам водитель, — пора выходить. Ваша остановка!

По дороге, беззлобно размахивая хвостами, нас встретили местные деревенские собачки.

Неожиданно пошёл дождь, мы едва успели добежать до дому, где нас уже ждали. Уже в доме я присел на лавочку и с грустью глядел в окно на косой ливень. Мой товарищ стал помогать родителям хлопотать по дому.

Ливень успокоился, стал постепенно угасать и незаметно перешёл в мелкий дождик. По стёклам окна медленно катились капли... Мой друг Пашка почувствовал, о чём я думал, подсел ко мне на скамейку, поправил очки, задумчиво произнёс: « Да, это, правда, у него не было несколько пальцев на руках». Наверное, мальчишка был так восхищён игрой, что даже их и не заметил. Да это и неважно. В русском человеке так много заложено таланта, и в исключительной ситуации он может проявить такие уникальные способности, которые преодолевают невероятные жизненные препятствия.



ДОРОГА

В уютном купе скорого поезда сидел у окна мужчина средних лет в светло-коричневом костюме, казалось бы, дремал, опираясь на столик, непроизвольно слушая ритмичный танец чайной ложки в стакане. Неожиданно в его памяти всплыло неприятное событие, которое привело его к странному решению, и раздражало его своей неопределённостью. Он от него резко отмахнулся рукой, как от надоедливой мухи, едва не задев стакан с чаем. Успокоился и вернулся в спокойный ритм движения поезда. Но тут же всплыло другое событие, связанное с доброй отзывчивой проводницей, которая помогла ему без труда заскочить в вагон поезда, который уже тронулся.

— Наконец-то, неужели все уже позади? — с облегчением вздохнул и откинулся к стенке купе.

— Спасибо тебе, милая и добрая проводница! — благодарил её мысленно и надеясь, что его просьба каким то образом дойдёт до неё. Человек-то она хороший, непременно услышит его по душевной связи, как ему казалось... На окне висели плотные светло-коричневые занавески, через которые пробивались яркие всплески фонарей придорожных столбов, на мгновенье освещая одинокую фигуру пассажира. Казалось, что он забылся, не различая за окном уплывающие с редкими светящимися окнами и расплывчатыми очертаниями строения. Далёкие и яркие огни мерцали в окне на тёмном фоне неба, ещё больше успокаивая его. Пассажир вдруг неожиданно вздрогнул.

Дверь с шумом открылась. Не обращая ни на кого внимания, в купе бодро вошёл человек и стал заталкивать свой чемодан на верхнюю полку.

— Вот нахал! — возмутился про себя Валентин Петрович, глядя удивлённо на нарушителя его душевного спокойствия. Тот, усаживаясь напротив, с мягкой улыбкой глядя на растерявшегося пассажира, произнёс:

— Добрый вечер, Валентин Петрович. Будем знакомы, Александр.

— А Вы откуда меня знаете? — недовольно буркнул, продолжая разглядывать вошедшего.

— Да так, наугад. Уж больно задумчивый у Вас вид.

— Ну, и что! По-вашему, у кого задумчивый вид, того и зовут Валентин Петрович? — с трудом сдерживая себя, ответил Валентин Петрович.

— Вы не переживайте. Это я так наугад. Мне показалось. А вот хотите, я Вам скажу, откуда Вы прибываете? — Попутчик продолжал глядеть на него с улыбкой и чуть пригнулся к нему.

Валентин Петрович с недоверием взглянул на соседа, раздражённо сказал.

— Ну, валяй... Может, как-нибудь развлекусь,— и махнул рукой.

— Едете, дорогой мой, Валентин Петрович, издалека, из Хабаровска. Из моих родных мест.

— Во как!? Что, земляк? — неожиданно встрепенулся, потом быстро спохватился, и тут же принял первоначальную позу недоверия.

— Ну, и что!

— Живёте Вы, дорогой мой, на окраине города, в небольшом, как мне кажется, деревянном доме, и возможно, а то и наверняка, есть пасека с пчёлами.

— Ты что, старуха-гадалка что ли? — задвигал рукой по столику Валентин Петрович.

— Хоть и не гадалка, а кое-что скажу.

— Во, даёт, ишь, куда тебя занесло, и откуда ты всё это знаешь? — Валентин Петрович растерянно почесал затылок.

— Наверняка, медовуху на праздничек приглубливаете, — продолжал мягко на него давить новый пассажир. Тут Валентин Петрович кисло улыбнулся и с грустью промолвил.

— Да уж. Вот её и вспоминаю.

Немного, задумался, спросил:

— А вот скажи, кем я роблю, коль записался ты в гадалки?

— Это не трудно. По Вам видно — мужик Вы крепкий, упёртый, думаю, что был трактористом.

— Вот угадал, так угадал. Как в цирке! И надо же какой мне попутчик достался...

Тут Валентин Петрович тихо рассмеялся, хлопнул себя по коленке и, качая головой, произнёс:

— Не думал, что встречу то ли цыганку-гадалку, то ли старуху — ворожейку.

— И не цыганка-гадалка, и не старуха ворожейка, однако, что-то в этом понимаю, — весело ответил Александр.

Валентин Петрович окончательно успокоился и расслабился.

— Вообще-то, Валентин Петрович, докладывай, зачем в Москву-то едешь? — перешёл на «ты» Александр. — Наверно, прогуляться или немного протрястись. Или всё-таки на юг, на море? Там тепло, хорошо. Загорай, сколько хочешь, а у нас в Сибири всё-таки холода: и лето короткое, и зима на мороз крепка. Вижу, вижу ... тоска гложет.

Сделав паузу, обратил внимание на то, как Валентин Петрович всё время пальцами ловко перебирает и постукивает ими по столу. «Может, нервничает, или вспомнил кого-то, — отметил про себя Александр, и тут же решил попробовать рискнуть ещё раз. Удастся ли расспросить про его возможную тайную «мозоль».

— Вот, например, после медовухи родимой, Валентин Петрович, наверно, и не грех достать гармонь, да душу-то, повеселить, как в таких случаях водится, она ведь не каменная. А?..

— Вот и я говорю, не каменная! — тихо отозвался Валентин Петрович. На мгновение замер, и с грустью добавил:

— Не хватает мне её — гармошки милой-то. Понимаешь, не хватает её... А бывало с радости ли или с печали растянешь меха до упора, и с силой сожмёшь её, пальцами вниз по кнопочкам пробежишься. Ох! и заголосит она красиво разными звуками, загуляют они по всему телу щемящей волной. И застонет грудь, да так, что всю тоску унесёт к чёртовой бабушке из души, сразу, однако, понимаешь, становится легче.

Тут он немного оживился.

— Вот, на берегу реки сидишь и тихо на гармошке играешь, рядом берёзка колышется, радуется своей зелёной молодой листвой. Внизу речка спокойная о чём-то шепчет, по берегу ласковая волна бежит, с камешками весело играет. Рыбка на воде беззаботно круги рисует да пузырьки пускает. Во как! Красота-то какая! — и замолчал, вытирая глаза платком.

— А дальше? — увлечённый рассказом, стараясь сохранить тональность беседы, осторожно спросил сосед.

— А, тут жена, баба моя, как на грех, понимаешь, из-за спины неожиданно, как из окопа, выскочит с ненавистью на лице, кажись, готова тут же меня разорвать, вот зараза ... разнеси её в пух. А уж как она по деревне заголосит, с причитанием на всю ивановскую: «Ой, с гармошкой связался. Он всю силу не туда тратит!» А потом, откуда у неё эта чёртова сила берётся, она ещё громче закричит, прям — самурайская тревога: «Да я что, чемодан от этой холеры, которую он, сукин сын, понужает каждый день, а меня как нет! Рано меня закапывать. Поломаю, сожгу эту анафему... изуродую гармонь проклятую тебе назло!»

Выскочит из дому и по всей улице прытью бежит, славит, орёт, как пожарная сирена: «Эй, люди, гляньте вот на моего придурка с гармошкой, он как с чужой бабой снюхался!.. Сутками мнёт её меха, сутками, неделями да месяцами. Ему, видите ли, не до меня ... Что, у меня бабского добра нет или не хватает? Да хоть когда-нибудь бы взглянул на меня! Паразит окаянный!»

— Вот язва так язва, — изобразил её лицо так, что сосед даже оторопел. — Вот зараза так зараза.

Тут он резко оборвал печальную исповедь, вздыхая, потёр ладонями колени. Спрятал руки за спину, уставился в пол.

— Тьфу, не хочется о ней вспоминать. Лучше на гармошке в переборах радость искать, чем эту дуру слушать с её причитаниями. Злая какая-то. Вот бы ей, понимаешь, сесть да послушать мою гармошку, да порадоваться, что мужик-то рядом, а не у бабы, неизвестной какой и где, и за какой юбкой прячется, и неизвестно, где водку хлещет. Может, и того хуже. Вроде, баба нормальная, а ласки у неё ох как маловато. Уж скажу сразу — ох маловато... Вот гармошка, понимаешь, спасает от одиночества. Хоть и баба рядом... Вот. Напри-

мер, про ласку скажу нашу, зимой принесешь дрова из лесу, полежат немного, отойдут от холода, заживут-задышат на всю избу ласковой смолью, и не оторвешься от них. Вот где ласка, вот где душа. Она и в лесу ходит. Бывало, в лесу затоскуешь, к берёзке прижмёшься, голова туманом ходить начинает. Во как! Так это слаще моей «язвы». Не то, что моя баба, пожарная сирена, духов импортных накупит, наставит по всему комоду со слониками, надушится всеми сразу, и думает она, что мою гармошку заменит. Думает, что моя душа, как медведь на мёд, прибежит и на её духи к ней привяжется.

Валентин Петрович вздохнул. Вдруг глаза заиграли, вспыхнули весёлым огоньком.

— А гармошка у меня-то саратовская, с разливом. На свадьбе как сыграешь, так у боевых девчат всю душу внутри вывернет да прохватит, да так, что потом от юбок отбою нет. Вся округа загуляет до утра. Моя-то — несчастная, на нутро глуховата, не чувствует она гармошку, не чувствует...

Неторопливо выпил глоток чая. И глянул с горечью в окно...

Поезд залился грустным протяжным гудком с продолжительным эхом.

— Да... — с сочувствием поддерживая Валентина Петровича, протянул Александр.

— Как-то весной, на тракторе в лесу копал, — продолжил печально Валентин Петрович, — да так задумался о своей жизни, что незаметно вырыл глубокую яму, аж в глазах темно стало.... Что за чёрт, думаю, себе ли я яму-то копаю.... Вдруг мне нехорошо стало, душа заныла. Это что, я до Москвы должен эту чёртову яму копать? Вылез. Залез на крышу трактора, посмотрел, она чуть из ямы торчит. Стою на ней, на крыше-то. Смотрю по сторонам. Солнышко на листьях играет, ветерок приятный душу ласкает. Небо синее. Птички щебечут... Поют и поют... Господа Бога славят... Лес свежестью и мёдом дышит! А тут... — неожиданно прервался... — А тут моя непутёвая... импортным усиленно одеколоном прыскается. И где она достаёт эту чёртову заразу, что дышать невозможно, — с горечью произнёс. Вздохнул, продолжая.

— Вот стою на крыше, что со мной сделалось, не могу понять, стою... а слёзы накатываются. Смотрю на небо, на ласковое солнышко, вытягивая к ним руки, шепчу... Ох, как хочется всё это

обнять всё вокруг себя, прижать всё к груди, к сердцу, хочется так долго сохранить эту необъяснимую радость. Стою и слёзы на щеках вытираю. Вот оно счастье-то, вот оно...

Неожиданно открылась дверь в купе, и хриплый голос проводника вежливо спросил:

— Товарищи пассажиры! Не надо ли ещё чайку?

Валентин Петрович сжал ладони до хруста в пальцах, молча кивнул.

В этот момент исчезло удивительное обаяние и искренность рассказа, которое бывает так редко...

— Да вот ты какой, Валентин Петрович, — думал, уже укладываясь на ночлег, Александр, и потом, ворочаясь на верхней полке, засыпая под мягкое укачивание и стук колёс.

Наутро, к удивлению Валентина Петровича, на нижней полке спала женщина, тихо посапывала. Он с любопытством разглядывал её. Она лежала, укрывшись одеялом. Лицо её было умиротворённое, с неглубокими морщинами ещё не ушедшей молодости, и светилось легким румянцем. Это его приятно удивляло. В душе Валентина Петровича прозвенела нотка тёплой радости из далёкого детства. Резко заскрипели тормоза. Прогудел гудок. Дверь купе вдруг сама поползла и захлопнулась. Вагон натружено вздохнул и остановился. За окном тут же замелькали местные коробейники, больше похожие на просителей помощи. На небольших станциях всегда можно увидеть выстрадавшую радость пассажира, его любимый традиционный набор пропитания: картошечка с курочкой в целлофане или в прозрачной плёнке, там же лежит пара малосольных огурчиков, два толстых пирожка с небольшой начинкой, расстегай с рыбой и ещё не остывший беляш. И сколько времени с надеждой приходится продавщице сего непрехотливого товара глядеть на проезжающих пассажиров, предлагать, чтобы купили именно у неё... То ли дело мужики. Они поопытнее, носят продукты серьёзные: пиво с вяленой, копчёной рыбкой, наливочку, ну и, разумеется, всё остальное, что составит незатейливую радость в дороге. Отрываясь от всей этой невесёлой картины, Валентин перевёл взгляд на верхнюю полку и увидел проснувшегося соседа.

— Ну что, гадалка, проснулся? — произнёс с улыбкой. — Гляжу, что-то тебе не спалось? А раз так, принимай соседку.

Сосед спустился осторожно и подсел к Валентину Петровичу.

— Ишь, как она хорошо спит. Глядя на неё, тоже хочется улыбнуться во сне и подремать как она, только не шибко хочется, — произнёс почти шёпотом Валентин Петрович. — Интересно, что же происходит в этот в незакатный возраст, что-то приятное, детское. Внуков у неё, видимо, немало, и наверно, их во сне считает. Н-да, а у меня и детей-то нет, — глядя на неё, продолжал Петрович. — У меня детство было слишком взрослое. Радостей детских не знал. Заводская труба! Вот моё детство. Вот... — Ещё глубже вздохнул. — Жил у завода, как говорят, на плечах у него. Рядом. Эх, и надышался же я и красного и зелёного, и чёрного, и всякого цвета дыма. Вот теперь болячки-то всякие выходят, и цветные — тоже. Пацанами-то в детстве всё бегали около завода. И играли кто во что горазд. Время послевоенное. Небогатое. Как наступал вечер, мы, словно на парад, с мальчишками бегали смотреть, как танки с нашего завода по железной дороге с грохотом и рёвом неслись мимо нас. Страшно было. Думаешь, что где-то рядом за лесом ещё война идёт. А её-то уже давно нет. Ещё долго после войны по этой заводской дороге танки уходили. А куда? На какую-то станцию? Нам про это было неизвестно. Война из души, из памяти быстро не уходит. Сидит поколениями. И забыть её невозможно. Лоб потёр ладонью, потом щёки, на подбородке рука неожиданно застыла. На мгновение. Закрыв глаза, чтобы, наверное, вспомнить — дорогу, танки и онемевших мальчишек.

— Вот, например, — это божье создание, она и во сне радуется. Видно, в крепкой семье выросла, да и детей с внуками хороших воспитала. — Взглянув на чуть улыбающуюся во сне женщину, продолжил:

— Вот спросить бы у неё, почему она улыбается? Эх, была бы моя гармошка...

Тут женщина повернулась к стенке и почти не дышала.

Валентин Петрович продолжал.

— Вот, например...

Тут поезд резко лязгнул тормозами. Валентин Петрович умолк и стал смотреть в окно.

Заглянул в купе проводник.

— Как, граждане, насчёт чайку, принести?

Валентин Петрович приложил палец к губам и кивнул головой, показывая двумя пальцами — на двоих. Дверь мягко захлопнулась.

Женщина повернулась на другой бок, вздохнула и, уткнувшись уютно в подушку, тихо и ровно задышала во сне.

Вскоре чай был на столе, но Валентина Петровича что-то всё время держало. Решил пойти покурить. Нагнулся под столик и стал высматривать свою обувь. Что-то блеснуло в темноте. С трудом на ощупь достал рукой.

— Что это? — спросил Александр.

— Да не знаю, какая— то пуговка с дырочкой в середине, уж больно красивая и приятно блестит, наверно, выпала она откуда-то. Что-то она мне напоминает.

Валентин Петрович положил на ладонь и поиграл ею на свету, тихонько подбрасывая.

— Странно, что-то мне напоминает, — неуверенно произнёс про себя ещё раз.

Александр удивлённо кивал головой.

Заскрипели тормоза. Спящая соседка от резкого толчка проснулась, привстала и удивлённо стала смотреть на мужчин, которые что-то разглядывали в большой руке Петровича.

— Доброе утро, дорогие. Это что за остановка?

— Да нет, это не остановка, просто тормознул поезд.

— Ах, как долго я спала. Наверно, вам помешала? — спросила, приятно улыбаясь.

— Ну что Вы! Совсем Вы нам не мешали.

— А Вам, может, чайку организовать? — опередил сосед Петровича.

— Да с такими ухажёрами я с удовольствием, — почти по-детски улыбнулась.

Валентин ей тоже улыбнулся, держа в зажатой руке найденный предмет.

— Вот и ваш чаёк, — открывая дверь, Александр поставил стакан с чаем на столик.

— Надо ей показать пуговицу, — тихо прошептал он.

— Да ладно, потом, дорога длинная.

— О чём вы там, как хохлушки, шепчетесь?

— Вот нашли занятную вещицу, и что с ней делать не поймём. Может, эта ваша?

— Ой, — радостно воскликнула, — так это же моя, и как она у меня выпала? Всю жизнь её в платочке ношу.

Мужики переглянулись.

— Это самая дорогая вещица. Это моя память. Это моя любовь, — и умолкла, расчувствовавшись, на её глазах чуть выступили слёзы.

— Странно, — подумали про себя и переглянулись мужики, держа в руках стаканы с чаем, пригубливая его.

Миловидная женщина взяла пуговицу и стала её аккуратно заворачивать в нежно-голубой платочек, ласково шепча, с девичьей нежностью, будто разговаривала с любимым человеком:

— Ты мой родненький, далеко от меня не уходи... не прячься... не уходи...

Руки её слегка вздрагивали, поглаживая платочек.

Валентин Петрович неожиданно что-то почувствовал и решительно вышел в тамбур вагона, достал папиросу, нервно закурил. Немного успокоившись, вернулся в купе, увидел слегка раздумывающую от волнения соседку, осторожно присел напротив неё, она продолжала поглаживать свой платочек, тихонько перебирая его, негромко говорила, словно пела о своей судьбинушке:

— Любила я паренька в молодости, уж больно красивый: и высокий и статный. С кудрями Пушкина. За кудри и полюбила его, и за его гармошку тоже. Он на ней так играл, так играл, всю мою душеньку измучил, что я ночами не могла спать, а в глазах кудри да гармошка... кудри да гармошка. С ума меня сводил. И куда я только за ним ни ездила, как приворожённая. Где он выступал, присяду на стульчик на первом ряду с краю, и издалека смотрю на него и тихо поплачу. Хотела поближе, но не хотела его карие глазки смущать, надеялась, что он меня и не увидит. Это я так про себя думала, а как он, не знала. Вот так вместе и сидели друг от друга вдалеке. Бывало, тряхнёт своей смоляной головушкой да вдохнёт глубоко грудью, улыбнётся солнышком, пальцами по кнопочкам пробежится, словно на лету жар-птицу хватает, потом тронет душу чистым родником... Ох и чистым родником...

Волнуясь, перебирала платочек, который нежно заиграл под маленькими пальчиками.

Валентин Петрович незаметно продвинулся поближе, вглядываясь в раскрасневшуюся, неожиданно помолодевшую пассажирку.

Не замечая его взволнованного взгляда, она продолжала:

— Весь концерт, как во сне, никого не видела, словно в поле с ним вдвоём. Кудрями обовьёт мою головушку, глаза его заискрят-

ся нежным светом. Пальчиками дотронется до моих волос на голове, чувствую, как сладкий туман меня охватывает и окутывает. Ох, миленькие, и любила я его, ох, и любила. А играл на гармошке, да так нежно, словно голубки воркуют, не нарадуются своим дыханием. А то песню заиграет, чувствую, как его душа разговаривает со мной. Каждое его слово слышу, каждое слово поёт у меня в душе. Вот сижу на краюшке деревянного стула в старом сельском клубе. Холодно, а мне хорошо и уютно, как дома на мягкой перине. А слёзы остановить не могу. Наплачусь. И хорошо мне становится... Неожиданно замолчала... Взглянув на окно с растекающимися тонкими струйками дождя, Петрович понимающе переглянулся.

— А что у Вас за пуговка в платочке, какая-то необычная? — спросил осторожно.

Лицо её резко изменилось, взглядом печальным отвела глаза, молча отвернулась к окну. Валентин Петрович, интуитивно почувствовал скрытую болезненную рану. Наверное, трагическую. Она молчала, остывая после неожиданного всплеска откровений с незнакомыми людьми, скрывая свои мысли и переживания.

Он, Валентин Петрович, боялся, что она не успеет рассказать нечто важное, что, возможно, неожиданно выйдет она на ближайшей станции и исчезнет в этом малоизвестном городке, и это важное уйдёт от него навсегда. Почему это его встревожило?

— Что-то чайку захотелось, — растерянно произнёс он, моргнув товарищу, чтоб прервать затянувшуюся паузу. Неожиданно женщина встрепенулась.

— Да и мне, миленькие вы мои, тоже чайку испить захотелось.

Ласково и тихо произнесла, словно пропела чистым девичьим голосом, Валентин Петрович удивился про себя. Размышляя, как же надо сохранить этот чудный голос в то время, когда несущие из всех разного рода приёмников, навязывающиеся хрипящие и фальшивые голоса, отравляющие душу и ещё такими же песнями. Он вспомнил песни бабушки, которая с чувством и нежностью тихо пела, глядя на него ласковыми глазами.

Стало тихо. Поезд почти стоял. В окно показались берёзки. Они медленно провожали поезд, едва шевеля своими тонкими ветвями, свисающими с жёлтыми листьями уходящего лета.

Петрович принёс чай, поставил на столик. Женщина пригубила. Раскрыла платочек и достала пуговицу. Ласково посмотрела на неё, тихо произнесла:

— Это его кнопочка. От его гармошки, берегу я её. Однажды он меня заметил после концерта, подошёл ко мне и увёз меня на своём мотоцикле... Недолго мы с ним ворковали, и я не знаю, то ли кто позавидовал, то ли ещё какая-то не чистая сила к нам привязалась. Поехал он однажды с гармошкой к начальству, да и погиб. Мне его рюкзачок привезли на девятый день. Гармошки уже не было, только и осталась эта кнопочка. А он как на фронт ушёл. Тяжело мне было. И я уехала. Вот и маечка осталась. Не удержала я дитё, через недельку после родов ушёл к нему ангелочек наш...

Тормоза протяжно заскрипели, задвигался медленно поезд и странно и трагично прогудел на низкой ноте.

Молча допили чай. Валентин Петрович вдруг неожиданно вышел в тамбур, вынул из помятой пачки сигарету. Долго держал её в руке, переломил, выбросил. Тут же достал другую, растерянно сунул её в рот, но никак не смог достать дрожащими пальцами спичку из коробки. Зажёг сигарету, сильно затянулся. О чём он думал... Невзрачное купе, тёмные занавески, эта соседка с её необычной историей. Её чистые глаза и проникновенный музыкальный голос. Ах. Боже мой, и голубой платочек с дорогой вещицей — это всё летало, словно в густом дыме, заполняя его самого и грохочущий тамбур.

А в купе женщина вдруг засуетилась и стала собираться. Голубой платочек положила в сумочку. Села и перекрестилась.

В купе заглянул проводник.

— Вам, гражданка, на следующей станции выходить.

Она едва кивнула. Валентин Петрович, затягиваясь очередной сигаретой, не заметил, как двери тамбура открылись, и народ торпливо стал выходить из вагона. Он быстро вернулся в купе, но пассажирки уже не было.

— Она уже ушла? — спросил.

— Да, только что, — растерянно прозвучало в ответ.

Вдруг Валентин Петрович резко встал. Из нижней полки решительно достал рюкзак, вскинул его на плечо.

— Куда ты, Петрович, тебе ведь до Москвы!

— Некогда брат, надо спешить! Я уж тут и выйду. Понимаешь, я всю жизнь искал, а теперь нашёл!

На столе лежал оставленный пассажиркой билет. Он быстро схватил его и побежал к выходу, успев спрыгнуть на платформу из уже набирающего скорость поезда...

Оставшийся в купе Александр тут же выглянул из окна вагона, и стал прощально махать ему рукой, как дорогому другу.

Валентин Петрович стоял на платформе, держа двумя руками рюкзак высоко над головой — эта была его гармонь.

Поддерживая решительно важное решение Валентина Петровича, Александр утвердительно показал ему большой палец руки.

За поворотом быстро исчезла станция с оставшимися случайными попутчиками. Дай Бог им...

...Эта история стала забываться, постепенно исчезая мелкими эпизодами. Пришло неожиданно письмо от Валентина Петровича. Как он разыскал адрес Александра, было загадкой. Столько, видимо, пережил за это время, а излить свою душу некому.

«Уважаемый Александр, прошу простить меня за письмо к тебе, за мою нетактичность. Но я думаю, что тебе будет интересно узнать немного о моей печали. Как ты знаешь, когда мы расстались — ты меня сразу понял, за что тебе благодарен. Так вот, по делу. Я выскочил из вагона, надеялся догнать нашу пассажирку, но она исчезла, ни в этом городе, ни в районе нет её. В адресном бюро разводили руками, а я им не смог объяснить, кто я для неё.

И как она на меня так повлияла, не знаю, но сильно к ней пригнуло. И эта история ее, и эта пуговица от гармошки на меня произвели глубокое впечатление.

Три года мотался в этом городе, как мальчишка. Заглядывал куда мог. А вечерами играл на улице, на вокзале, на базаре — и где только меня чёрт ни носил.

Нигде не мог встретить её. Надеялся, что услышит гармонь, может, прилетит на родные звуки. Но, увы...»

В душе у Александра проскочила нехорошая нотка. Всё время думал о Петровиче, о той случайной встрече в поезде, когда он так и не успел рассказать Петровичу, откуда он узнал такие подробности о жизни своего земляка. Искренность Петровича подкупала Алек-

сандра, он стал невольно переживать и сочувствовать ему в непростой жизненной ситуации.

Прошло несколько дней. В дверь позвонили. Александр подошёл к двери и открыл её.

— Вам письмо!

Протянул незнакомый мужчина. Александр взял письмо и хотел поблагодарить, но услышал, как захлопнулась дверь в подъезде.

Письмо было адресовано ему. Но какое-то странное и нехорошее чувство удерживало от вскрытия конверта...

«Уважаемый Александр, пишу Вам о Вашем товарище, о Валентине Петровиче, — читал, наконец, в письме. — Его нашли зимой на дороге в машине замерзшим. Куда он ехал и к кому — не известно. В больнице на третий день его не стало. Но молодая сестра передала письмо с Вашим адресом. В конверте была записка и завёрнутая в бумажку какая-то пуговица. В записке просьба передать её вам. И всё».

Александр вынул из конверта, развернул плотную бумагу, там блеснула белая перламутровая кнопка.

— Так это от его гармони ...

Его бросило в холодный пот. Как это с ним случилось? Ведь крепкий мужик!

Как же так? Надо что-то срочно делать, и куда, и где его искать?

Вспомнил его рассказ о Сибири, где он жил, может, он вернулся домой? Повертел в руках конверт, надеясь по нему узнать адрес. Но его не было, только его имя и адрес. И тут он увидел герб сибирского небольшого города. Это была надежда. Всё время в самолёте на дороге, в автобусе он думал о Петровиче. В голове не укладывалась вся эта цепочка событий, что привело его к трагическому исходу. До мельчайших деталей вспоминал разговоры в поезде, и каждый раз удивлялся его искренности, природному богатству его души и внезапной страсти. А встреча с незнакомкой потрясла настолько, что ради неё готов был Петрович свершить юношеский порыв бурной молодости, выплеснуться последним криком надежды вспыхнувшей любви.

Не гармони ли это сохранила сильные чувства на сибирской земле, где реки наполняли его своим величественным течением и русский лес был для него намного слаще и родней. Почему-то мысли о Валентине Петровиче не отпускали Александра.

Наконец-то этот сибирский городок и небольшая больница. У Александра сердце стало сильнее стучать в груди. Взволнованный, зашёл к главврачу.

— Похоронили рядом с больницей, — сообщил тот.

— А кто-то приходил к нему ещё?

— Да нет. Когда его не стало, приходила женщина. Говорят, что из монастыря, недалеко, тут он рядом.

Александр поспешил — и увидел: у свежей могилы Валентина Петровича стояла маленькая женщина в короткой шубе в черном платке и вытирала глаза голубым платочком, крестясь, тихо пела. Кто она? Не та ли женщина, которую он искал? Как, и какое чудо свершилось, что она здесь?

Ему хотелось подойти и спросить её. Но что-то ему мешало.

Вдруг он резко повернулся и решительно пошёл на остановку, где долго стоял, не отрывая взгляд от неё и её тёмной фигуры. О чём думал, и что его потрясло в этой непростой истории? Какая сила их сблизила? Или полное одиночество, или подлинно искренние глубокие чувства, которые на мгновение с силой захватили их невидимой волной? Какие страсти бушуют в этом возрасте, вдруг похожие на цунами? Или на глухие раскаты подземных пластов? За что Господь дал им такое испытание?

Подошёл автобус, он сел на свободное заднее сидение. Потом достал завёрнутую в чистую бумажку маленькую вещицу, развернул, на ладони блеснула своим печальным светом перламутровая кнопка.

Он сжал её и долго не отпускал пальцы, думая об этой странной истории, которая случилась с ними и соединила их троих в этой дороге, в поезде, и которая так повлияла на него, его душу, стала близким и родным на долгие годы, частью его собственной жизни.

Он отрешённо и печально смотрел на вечерние огни городка...



ЭЛЕКТРИЧКА

В полупустом вагоне вечерней электрички, пробиваясь через хор грохочущих колёс, прокатились из громкоговорителя невесёлые и разнообразные сообщения о терактах и подозрительных сумочках, о забытых вещах, о запрете торговли и штрафах несчастных коробейников. А также — о недорогих празднично-корпоративных и субботних вечерах в городском ДК железнодорожников. У окна сидел интеллигентного вида пассажир, отмахиваясь от грохочущей рекламы, как от назойливой мухи, закрывая ухо ладонью, мотая головой в разные стороны, с раздражением возмущался: «Когда же это безобразия закончатся?» За его спиной две старушки сочувственно и дружно кивали головой.

После короткого свистка отбывающей электрички в дверях вагона появился краснощёкий, коренастый молодой человек в чёрной вязаной шапочке на голове, спортивной куртке и широких штанах. На усиленных ремнях держал старую, потёртую сумку для лыж и хоккейного снаряжения с неугасимой эмблемой «Олимпиада-80». Его бурная щетина на лице, как у таёжного туриста, не смущала полудремавших пассажиров, не мешала слушать, как он рекламировал разноцветные детские книжки. Мотая головой, как китайский болванчик, пытаясь на весь вагон перекричать надоевшую рекламу из динамика, он расхваливал попутно и диски с американскими фильмами.

По воле злой судьбы, рядом с ним пассажир с заткнутым в ухо пальцем сильно страдал от этакого сольного выступления ново-

явленного коробейника. С нескрываемой ненавистью на лице он с нетерпением ждал быстрого его исчезновения и с детской литературой, и с подозрительными фильмами.

Радио продолжало повторять измотавшие душу пассажиров трудно различимые и расплывчатые сообщения, вперемешку с общим грохотом электрички, которая быстро набирала скорость. Замелькали дома, строения, редкие кустарники, скошенные поля с рулонами травы.

Неожиданно в вагоне зазвучала песня о комбате: в защитно-камуфляжной форме, словно ввинченные в пол в синих беретах, стояли десантники, держа на плечах гитары и звуковой динамик. С недогнутыми мускулами на лице, не обращая на резкие движения электрички, пели и о трагической войне на Кавказе.

Огромная потёртая лыжная сумка с яркой эмблемой «Олимпиада-80» от боевого напора десантников резко съёжилась и мгновенно выскочила к выходу, где бесславно исчезла вместе владельцем чёрной вязаной шапочки...

Наступая на пятки убегающему книжнику, впереди уверенным шагом шёл один из своих товарищей, держа в руках потемневший от порохового дыма рюкзак. Женщина средних лет, вытирая слёзы, достала немного денег и положила в рюкзак. Перекрестилась...

Раздался резкий скрежет поезда. «Осторожно: двери закрываются», — скрипнуло по радио. Двери хлёстко захлопнулись. Под грохот запрещающих объявлений, уверенно и напористо, маленькими пароходиками поплыли по вагону быстрые коммерсанты с торчащими углами в разные стороны сумками, сбивая ими головные уборы и протаскивая между ног туго набитые клетчатые сумки с народной радостью: пивом, водой, мороженым и дешёвыми товарами.

В середине вагона у окна две старушки напротив молодого парня сочувственно кивали головами. Он же тряс головой, плакал, вытирая рукавом слёзы от обиды.

Одна из них тихо и ласково говорит, обращаясь к нему:

— Что же с тобой случилось, милоч? Не заболел ли ты, родненький?

— Да не заболел я! — нервно мотнул головой... — Все деньги... все деньги... 17 миллионов!.. 17 миллионов! Пропил... Какой кош-

мар! Ужас! — С отчаянием ударил себя кулаком в грудь. Растирая слёзы по щекам рукавом, сильно затрясся.

— Да как же ты так? — взмахнули руками старушки, будто вдрут хотели взлететь.

— Как ты дошёл до этого? Миленький ты мой... Да разве так можно? — причитала одна из них.

— Конечно, можно, вот так... за раз и пропить, — выдохнул с отчаянием молодой парень. — 17 миллионов пропить! Какой же я дурак!.. Какой же я дурак! — повторял, продолжая всхлипывать и трясти плечами.

— Миленький ты наш, ведь позор какой... Вот горе-то так горе... Всем миром не отмоешься. А ведь ты парень-то, наверно, хороший... Смотри-ка, ещё и молоденький ... Бросил бы пить... — сочувствовала старушка, держа в руках старенькую сумку из потёртого кожзаменителя её далёкой тихой молодости.

— На лесоповале гробился целых два года, — продолжал всхлипывать парень. — Да с товарищем удачно толкнули кое-что перекупщикам. Вот... и где теперь искать такую работу? Эх, что за жизнь такая... заработал. Да и сорвался... 17 миллионов! — сокрушался, качая головой, молодой лесоруб.

Две бабули тоже кивали и сочувственно махали руками.

— Наверно, небось, и невесты-то нет?

— Была бы, сберегла бы парня-то, — поддакнула другая. — Слышь, милоч, а дом-то, небось, у тебя имеется? Наверняка, домой едешь? — продолжала ласково.

— Да куда мне теперь? Денег уж нет. Думал, приеду, дом поправлю,— тяжело вздохнул, вытирая слёзы рукавом.

— Да ты не сокрушайся, больше не пей, — говорит старушка с потёртой сумочкой из кожзаменителя.

— Поди-ка плохо тебе? Небось, горит всё внутри, — с жалостью посочувствовала другая.

— Плохо мне, ох как мне плохо, — продолжал трясти плечами.

Тут бабушка достала из сумочки заветную бутылочку с пластмассовым стаканчиком.

— На! Миленький, опохмелись, может и полегчает, да и закуси... Твоей головушке посветлее будет... Опохмелись, родненький, опохмелись, оно с души сразу и спадёт, горе-то...

Молодой лесоруб опустил руки, встряхнул головой, взял стаканчик, залпом выпил, поднёс рукав к лицу, носом резко втянул воздух в лёгкие, крякнул и закусил мятым пирожком.

— Ну, как? — с неподдельным любопытством и сочувствием, улыбаясь, спросила старушка с сумочкой из кожзаменителя...

Он смиренно посмотрел на окружающих, потом тряхнул белокурой головой и широкой ладонью виновато погладил вспотевший лоб.

— Ну, вот и хорошо. Может, ещё маленькую примешь, она закрепит, да подлечит... — сказала, доставая следующий пирожок...

Пассажир интеллигентного вида, вынудивший палец из уха, с застывшей кривой улыбкой и нескрываемым интересом наблюдал за необычным действием, постепенно втягиваясь в происходящее. На его лице, как в зеркале, отражалось всё, что там происходило.

— Да зачем ему опохмеляться, ведь начнёт опять всё с начала? — раздражённо сказал он старушкам, поворачиваясь к ним.

— Вот. Вот, — скороговоркой ответила, наклоняя к нему голову через спинку сидения, бабушка с сумочкой из кожзаменителя и добавила тихим твёрдым голосом:

— Вам бы, умный человек, потерять 17 миллионов, не знаю, как бы Вам жилось на белом свете? Вот! Ему бы, однако, помочь надо или подсказать умное житейское слово в трудное время, да пожалеть. Вот!... Ведь здесь никто и не обращает на него внимания, на бедолагу, только и могут осуждать, — завершила она, решительно защищая, как уже родного, несчастного оступившегося молодого лесоруба. А тот промолчал, незаметно опустил голову и тихо заснул, покачивая ею...

Пассажир интеллигентного вида отвернулся. Бабушка, не дождавшись ответа, растерянно стала вертеть головою, вдруг неожиданно увидела молодого солдата, который сидел один неподвижно в конце вагона у окна с большой трещиной в стекле. Из той трещины со снегом вырывался клубнями холодный ветер, на что солдат не реагировал.

— Ой, похоже солдатик-то замороженный... — сочувственно сказала, поворачиваясь к соседке. — Смотри-ка, даже от толчков поезда не дрогнула солдатская фигурка-то... словно памятник ... — произнесла со страхом.

— Видно, закалённый и холода не боится, однако... — с сочувствием кивнула головой старушка с сумкой из кожзаменителя.

Свежий морозный пар продолжал клубиться из окна.

На соседнем сидении расположился полный человек и сильно икал. Чувствовалось, что икание не природное, было тихим и редким, и никто пока этого не замечал. Расправив ноги и широко раскинув руки на спинке сидения, он чувствовал себя уверенным и защищённым. Но предательское икание становилось громче и чаще, и вдруг он стал замечать, как пассажиры слегка поднимали глаза и уважительно поворачивали головы, от лёгкого удивления стали улыбаться, потом хихикать, даже не стесняясь, посмеивались.

Икота стала частой, беспокойство увеличилось. Из груди икота выстреливала уж не одиночными, а залповыми выстрелами. Там у него внутри всё горело и бушевало, как на пожаре. Не выдержав, повернулся к пассажирам, делая спасательные жесты утопающего, вдруг закричал:

— Люди родненькие, помогите, дайте хоть каплю воды, хоть полкапли! Хоть полкапли. Ведь помру здесь, наверняка... Господи, ну пожалейте вы меня...

Послышался гудок, и под полное молчание пассажиров он обречённо тряхнул головой, тяжело сполз на сидение. Репродуктор тяжёлым голосом утопил мольбу. К тому же коробейники были уже далеко и не слышали его страдания, давно укатили на другую электричку — и ни воды, ни пива и ещё чего-то необходимого уже не было.

— Ведь действительно помрёт, — с испугом зашевелилась бабуля с сумочкой. А ну-ка иди спасай, подруга, ведь умрёт однако... шибко жалко его...

Подошла бабуля с оханьем. Дёрнула тихонько пассажира рукой и подала ему стаканчик и пирожок:

— К тебе скорая помощь приехала. На, миленький, на здоровье — а то... а то, глядишь, и до дому не доколесишь...

Он молча взял из рук стаканчик и с закрытыми глазами выпил, охнул и тихо сказал:

— Ой, спасибо тебе, мамаша, было чуть не помер.

Тут же сильно накренился и задремал.

— Вот ведь как неловко однако ему, — бабуля аккуратно поправила его на сидении и положила ему под голову его толстый портфель. — Вот горе какое. Так и до дому не дотянет. Перекрестилась.

Двери вагона с шумом захлопнулись. Тут же объявили следующую остановку.

Сквозь закрытые двери протискивался слепой с тёмными очками и с палкой в руке.

На вид ещё молодой, кудрявый, чернявенький. Но почему-то странно согнутый. Осмотрел слепыми глазами вагон, и, уверенно стуча палкой, лихо промчался мимо пассажиров.

— Так слепые не бегают, — буркнул пассажир, снова заткнувший ухо пальцем. — Наверно, от кого-то бежит, может быть, от контролёров, — продолжал раздражённо ворчать.

Две бабульки тоже кивнули в знак согласия.

Продолжал:

— Ишь, какой ловкий, совсем скорчился, бежит да не оглядывается, чтоб не узнали. Ишь, какой грамотный. Вот такие-то грамотные бегут да бегут аж до министров допляшут, а потом всю страну в бегах развалят.

— Бойтся, однако, знакомых, а может, от милиции... — поддакнула нерешительно бабушка с сумочкой из кожзаменителя. — Да, наверно, так и есть. От милиции, как мне, кажется, бегут гораздо медленнее, чем он — от контролёров.

Сочувствующие пассажиры уже полезли за пятаками, но с удивлением видя, как он часто и нервно стучит палкой впереди себя и пронёсся лихо по вагону, стали возвращать на место свои пожертвования. Слепой в тёмных очках мгновенно остановился, как перед невидимой стеной, оглядел всех через тёмные очки и резво исчез в дверях вагона.

Две женщины тихо переглянулись, пожали плечами:

— Помнишь, Матрёна, как видели из окна того слепенького, ну который, когда мы в прошлый раз с тобой в Москву ехали, лихо, как на лошадке, проскакал по вагону. Ишь, стоит на перроне пиво с пирожком дует, да круглые слепенькие очки, как кокошник на голове пристроил. Небось, проголодался. Попробуй-ка, в тёмных очках по вагонам бегать, так можно уставши и ослепнуть, не доживя до пенсии.

А старушка с потёртой сумочкой, услышав, промолвила тихо:

— Жалко мне его, ведь тоже молодой да кучерявый. Только зачем слепенькие очечки носить-то по вагонам? А я уж хотела, было,

ему и денежку дать, да только шибко бегаёт, пронёсся мимо меня со свистом, как дым в трубе. Жалко мне его...

— Ой, смотри кума, ещё один фрукт на перроне, пирожок с пивом кушает, и не холодно. А этот по вагону ещё на коленках ходил, подойдёт, головку положит на коленки нашему брату пассажиру, что-то непонятное скажет, а сам коленки гладит и в глаза преданно, как собачка у нового хозяина, глядит да руку протягивает, просит что-то у всех по вагону-то. Думаешь, с детства инвалид или клещами энцефалитными прихваченный. Дойдёт до двери, лихо вскочит на ноги-то и мимо окна пронесётся, дурачок, обратно в другой вагон.

— Ну что же он всё икает, — старушка нервно оглянулась в сторону. — Я вроде ему помогла... Наверно, у него болезнь такая, нам уж неизвестная? — обратилась вопросительно к другой старушке.

— Какая тут уж неизвестная, просто перепил и икает, — через спинку сидения твёрдо, по-офицерски, сказал старушке военный, поворачивая к ней голову в высокой фуражке.

— Вот ты военный, больше нас знаешь. А не видишь, что человек болеет... — заботливо ответила ему, разглаживая ладонями на колене, вышитый голубыми цветочками платочек.

В это время раздался более сильный «ик» на весь вагон. Все оглянулись.

— Вот видишь, как ему тяжело. Людей-то всех напугает...

— Воды! Дайте. Мужики, воды! — кричит он на весь вагон. — Дайте, воды, изверги. Вы что все попрятались и сидите, как вши на гашнике...

— Вот видишь, как человеку плохо, — продолжила бабуля ласковым голосом, обращаясь к военному соседу... — А говоришь... Одному только солдатику не помеха, ишь... сидит... и свежим воздухом... небось, дышит.

— Уж, какой там свежий! — возразила старушка с сумочкой. — Вон из окна прёт морозный пар. Тут в сундучок можно загреметь, как новогодняя погремушка.

— Да ладно уж, — возразила вторая, продолжая. — Да наши солдатики, это мужики... ишь... ты погляди на них: какие они крепкие в армии.

— По телевизору видела, как их там тренируют и что с ними там выделывают. Их топят, бедненьких, в воде, в дома горящие застав-

ляют бегать... А как поколачивают их, страшно смотреть, то по молоденькой голове чугункой стучают, то они своими неокрепшими ручками кирпичи да стены ломают. Ужас какой! Господи, помилуй. От роду такого не видывала. Как сиротинушек несчастных мучают. Лучше бы этому добру-то у дедов наших бы поучились, как его, ну, по военному делу... Вот! — глубокомысленно заключила, держа помятый от волнения платочек с вышитыми голубыми цветочками.

— А то чё... вот стеклянную посуду-то о свои разнесчастные головушки, как о стену, разбивают, да глядишь, на мелкие кусочки, а то и почти в пыль дорожную. Да и зачем им это надо? Иль голова уже не нужна что ли или для ломки посуды. Так у нас во дворе сколько бутылок валяется — пригласить бы тех, кто солдатиков заставлял, да по ихним бедовым головам бутылками да стекляшками, зато... ой, как спасибо дворники наши скажут... А что холодом солдат мучают, так это тоже плохо. Небось, и одежда у них тоненькая, не зимняя, Господи...

Поезд заскрипел тормозами, остановился. Под слабый свет фонарей станция провожала торопливые тёмные фигуры пассажиров...

Прошло время, решил проехать снова на этой электричке. К тому времени был уже новый президент. Ушли с тех времён дружеские посиделки. Шумные до хрипоты споры пассажиров.

Запах длинных, сорок пятого размера, чебуреков и толстых беляшей смачно теребили ноздри запоздалому трудовому народу. Не стало русских песен душевных и задорных, которые исполняли семейный самодеятельный дуэт ветеранов народной сцены. Молодых песенников и гитаристов, мечтающих о славе, которые шлифовали своё мастерство за мелкую монету. Старых и пожилых людей, которые появлялись во время всеобщего обнищания, отторгнутые преуспевающими новыми русскими в вызывающих красных пиджаках. И лица неопределённой национальности с протянутыми руками и с фотографиями умирающих детей там, где вера и доброта исчезла у жаждущих «предпринимателей», которые долго ждали свою сомнительную удачу, скрываясь в тихой прошлой жизни. Что-то исчезло, пропал тот непонятный аромат стихийного всплеска неизвестной свободы, непривычных ощущений в ожидании чего-то...



ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (Нелепый случай)

На изношенных, бесконечных дорогах, растворяющихся в глубине среднерусской полосы, затерялся тихий и неприметный городок, окружённый заросшим бурьяном и высохшими и пожелтевшими деревьями в редких перелесках, где, пожалуй, остались одни мелкие грызуны на радость местным мальчишкам. Зарождающееся болото захватывало пожирающим пожаром грибно-ягодную территорию оставшегося леса. Вся эта невесёлая картина не напоминала о густых когда-то сочных лесах.

Небольшая речка, которая протекала через весь город, летом превращалась в неприглядный мутный ручей. По воспоминаниям долго живущих старожилов, когда-то там была рыба. С появлением фабрики о ней и совсем забыли, поэтому у скучающего населения, как у сиротинушки, радости было не густо.

Однако городок продолжал жить своей размеренной и тихой жизнью — как бы замирая. Но однажды, нарушая этот миропорядок, в городке появились весёлые люди с гитарами и огромными рюкзаками. Говорили, что это геологи, и где-то недалеко от городка будут сверлить дырки в земле. Привыкшие к тихой жизни люди судачили: дырки эти в земле — плохой знак. Но, как ни странно, после ухода из городка весёлых геологов с гитарами начали быстро строиться дома. В дырках что-то нашли, и поэтому в городке появился новенький микрорайон вместе с детским садом.

В этом небольшом городке малоизвестный гражданин после многолетних ожиданий и мытарств получил в новом районе добротную квартиру. Но толи сказалось напряжение прошлых лет, толи со временем заостренела душа от вечных проблем, радость не приходила. Однако дети и жена были счастливы и радовались ей как новогодней ёлке. Истомленной душе было видно, как с особой теплотой и рвением хозяйка наводила уютный порядок в комнатах и на кухне. А в первую очередь надо было повесить в новом подъезде почтовый ящик. Квартира без него как без хозяина. Старый, с надписью «Почта», с прежней квартиры, повесили на первом этаже. Он не отличался от других и сливался в общей синей массе. Простота его, как известно, заключалась в том, что открывался он ключиком, и в ящик могли положить различную корреспонденцию. Но как показывает жизнь, женская маленькая ручка могла легко проникнуть и достать через узкую прорезь нехитрую поклажу. Этим его функция не ограничивалась. Как вы догадались, что маленькая ручка оставляла там? Что? Конечно, ключ от квартиры, поскольку почтовый ящик заменял коврик перед входом в квартиру. Так делали многие жители дома. Через некоторое время у молодых новосёлов остался один ключ от новенькой квартиры, и он постоянно проживал в почтовом ящике.

Известно, что у любой вещи есть две стороны медали. Почтовый ящик честно служил не только женской ручке, но и детской, которая всегда находила желаемое. Отец семейства тоже иногда по необходимости прикладывался к секрету почтового ящика. Но было одно неудобство: нужно быстро извлечь из ящика ключ, при этом строго оберегая семейную тайну, как черепаха Тортила. Тут наш новосёл сталкивался с ещё крайней неловкостью. В подъезд кто-то постоянно заходил, и глава семейного уюта быстро вытаскивал руку и старался безразлично глядеть на стену от проходящего соседа. Доставка ключа ему давалась с большим трудом из-за крупной ладони. Пытался сложить её по величине детской или женской, а дверь подъезда не дремала и довольно часто распахивалась. Без сноровки профессионала-карманника не обойтись.

Долгожданная и выстраданная любовь к новой жилплощади энергично развивала этот трудоёмкий навык, и через короткое вре-

мя, на зависть королям кошельков, появилась необычайная ловкость рук.

Но однажды наш малоизвестный житель открыл дверь подъезда и увидел мужчину, который стоял у почтовых ящиков и как-то подозрительно выглядел. Почему-то неуверенно и тупо смотрел в сторону, как бы разглядывая в железобетонной стене невидимое лицо Мао Цзедунa... Подходя не торопясь мимо него к лифту, делая безразличный вид, хозяин квартиры напряжённо думал...

Вдруг голова нашего новосёла отяжелела, и сердце резанула глухая боль. В голове возникла и затряслась судорожная мысль, как у испуганного кролика. Неужели он?.. В доли секунды выключилась память. Неужели он?.. Неужели?.. Решительно взял себя в руки... и память включилась снова. Но тут же вспомнил: тот, который разглядывает портрет неизвестного автора на ещё не облупленной стене, оказывается, его сосед этажом выше. На лице малоизвестного жителя проснулась дремавшая ехидная улыбка. Интересно... Интересно... Однако что у него на уме? Интересно — понеслась мысль, как у вырвавшего из западни кролика. Не из его ли окна, как из труб ликёроводочного завода, по субботам в мою квартиру прёт всеильный и всерадостный запах самогона? Интересно... Интересно... Как только ветерок в мою сторону — ну, хоть закусывай. А ведь какой скрытный... Продолжал вычислять его, с трудом сдерживаясь, чтобы не поплыть в счастливой искушающей улыбке.

Как он... этот самогонщик... заметил меня... у почтовых ящиков? И вообще, милиционер, что ли? Меня не так просто выследить! Тоже мне Шерлок Холмс... Наверняка, у него где-то на этажах докторишка Ватсон прячется... И буркнул себе под нос: смотри — ка, Уральский следопыт... Мухтар себе нашёлся... Вот ведь шпик! — продолжал он себя терроризировать невесёлыми мыслями. — У, наглый, ведь продолжает стоять, как у мавзолея на часах! Может, захотел пошариться по ящикам, — сверкнула мысль по простоте. — А там, наверняка, полдома держат свои ключи, по привычке кладут их туда. Вот привычка дурная... — почесал пятернёй грубо стриженный затылок. — И такие, как он, бандюги знают, где что лежит, — философски подытожил и сочувственно заключил:

— Вот и я храню свои ключи где попало... Лапоть сибирский...

В этот момент наш новосёл заметил схожесть положения руки, головы и тела при извлечении ключа из ящика со своими... Так... так... Растягивал своё наблюдение, как жевательную резинку...

— Вот ведь чучело... так припучело, — застучало молоточком в голове...

— Я... с горечью в душе... вырабатывая ловкость рук, потел как папа Карло, обливаясь деревянным потом, с зелёный горошек... Однако успел перехитрить меня, анафема. Смотри-ка, подлец, умело руку сгибает, неприятно отметил про себя, и корпус вполоборота ловко держит... И у кого он учился... К горлу подкатил комок зависти... Какой молодец, наверняка пятёрочником был в школе или чемпионом...

Почему-то лифт испытывал мужественное терпение нервного новосёла: где-то застрял, нагнетая обстановку.

Но после очередного незаметного выстрела взглядом в сторону несчастного соседа в нём что-то зашевелилось... В этот момент он пожалел не столько копающегося в почтовом ящике соседа, сколько себя, вспоминая своё постоянное там стояние.

Дело было глубокой осенью, когда с теплом уже расстались, а с морозами ещё не встретились. Уставшие от покупок с неутомимой женой и голодные от похода в магазин, они зашли в свой подъезд крупнопанельного дома, где наш герой на мгновение сосредоточился и быстро засунул руку в почтовый ящик...

В этой ситуации, когда любимое осеннее пальто на овечьей шкуре, — а точнее, его рукав, — купленное после свадьбы, сыграло драматическую, если не сказать трагическую роль. Малоизвестный житель каким-то чудом легко, без особых усилий просунул руку за ключом в узкую щель почтового ящика.

Неожиданно хлопнули двери, как выстрел гаубицы. Кто-то быстро вошёл в подъезд. Послышались торопливые шаги. Нервы у добытчика ключа натянулись, как струны. Малоизвестный новосёл в испуге нервно потянул из почтового ящика крепко зажатый в кулаке драгоценный ключ. Но предательская рука не поддавалась и не вытаскивалась. Злополучный ящик-капкан наглухо вцепился в рукав, как леопард в жертву...

Лицо держателя ключа вмиг страшно перекопилось, и он с отчаянием, изо всех сил, рванул руку. В этот миг ящик с надписью

«Почта» повис на руке, сливаясь с нею в одно целое. Жена с ужасом увидела руку с железно-синим предметом и до неузнаваемости перекошенное лицо, взорвалась испуганным, истерическим смехом...

Он напомнил монстра «Молот-рука» из фильма ужасов...

Огромный, в своём любимом пальто, новосёл, увидев реакцию любимой супруги, как она заливается громким, истерическим смехом на весь подъезд, в лютой ярости замахнулся на неё ящиком с торчащими ржавыми гвоздями, а другой трясущейся рукой с отчаянием кинулся нажимать на кнопку лифта. Двери тут же открылись, и они мгновенно влетели в лифт. На их счастье, двери быстро захлопнулись. За дверями лифта шаги остановились. Едва сдерживая свой неконтролируемый смех, жена испуганно, часто моргая глазами, смотрела на него. Монстр «Молот-рука», в ярости замахиваясь на неё ящиком, пригрозил — немедленно замолчать... Но от страха и от мгновенно восставшего Шварценеггера слёзы у неё вырвались ручьём и потекли по щекам. Жена медленно сползла по стенке лифта и присела. Тело продолжало трястись. Лицо сильно испуганное, но глаза смеялись. Непонятно, или плачет, или смеётся...

Слёзы смеха и страха слились в общее. Но ему продолжалось видение: в чудовищном смехе, исходившем из перекошенного рта и растянутой до ушей улыбки несчастной жертвы, трудно было узреть настоящую реальность, поскольку лютость ещё не остыла. В лифте, поднимаясь до своего этажа, новосёл, тяжело сопя, с неподдельной яростью вытаскивал свою руку из рокового ящика, и, выходя из лифта, продолжал им трясти в ритме ирландской чечётки у двери своей квартиры. Овчинный рукав отчаянно сопротивлялся чёткому ритму танца. Жена с отрешённым выражением лица замученной жертвы, с трудом боролась с зажатым смехом, пряча его в глубине груди. Мужественно держалась...

— Где же этот чёртов ключ?! — свирепствовал новосёл. — Это всё из-за вас, разбрасываете ключи по разным сумкам, а потом через полгода они где-нибудь да и выпадут, как всегда!..

Вывалось нестандартное слово, угрожающе замахнулся новосёл почтовым ящиком перед носом жены. Вдруг испуганно умолк. Снизу доносился скрип лифта. Не спеша проскрипел мимо этажа, где продолжался трагический спектакль.

Когда спасительный скрипучий шум исчез, супруга снова напряглась и с отчаянным лицом очередной жертвы ждала развязки, но, видя перед собой монстра с железной рукой, с трудом сдерживая себя, тихо, беззлбно, не открывая рта, нервно смеялась, вытирая слёзы. На владельца почтового ящика нашла новая волна ярости. Проклиная всю свою нелёгкую судьбу и всех чертей, крепко выругался. В истерике стукнул свободным кулаком по двери. Она пружинисто ответила глухим и жёстким звуком...

— Плохой знак... — чиркнула чёрная мысль в душе старателя. Одновременно радостно звенькнул ключик в осадном ящике, как бы подтверждающая тяжёлую долю страдальца, слившуюся с синим ящиком.

— Эх... и за что такая доля моя, — стреляли грустные мысли в неровно подстриженной голове. — И за что это судьба меня наградила такой женой, которая не поддержала меня? — ругаясь, продолжал трясти злополучный ящик с гремевшим подленьким ключом, который не хотел выскочить на свежий воздух. Крепко заткнутый рукав отчаянно сопротивлялся неодолимому и танцующему ключу. Только бы никто не видел этого... Только никто бы не видел меня... Помоги, Господи...

— Тут ещё пальто порвёшь, однако так и до пенсии его не доносить... — продолжал трясти ящиком. — Ещё с кредитом, чёрт побери, не рассчитался.

Неприятно поморщился. В душе пробежала серая мышь... Вверху предательски заскрипел лифт... Мысль прервалась... Отец семейства испуганно спрятал за свою спину подленький ящик с танцующим светлое танго ключиком, прижимая его дюжим корпусом, якобы мирно беседовал с женой. Скрежет новенького лифта быстро пролетел, оставляя в шахте душераздирающий звук.

— Что делать? — в голове малоизвестного жителя тряслась испуганная мысль, как осиновый листочек... — Вдруг соседи увидят, в каком положении я нахожусь... Добрые люди тихонько посмеются — и всё, а тут ненароком, может, весь дом узнает — вот смеху будет. Потом и ни пройти, и ни проехать. А если узнают бабки, возьми их в душу. А они большие мастера по сарафанному радио. Ведь наплетут такого, что не дай Бог. Стыдно на улицу выходить. У них языки-то — во какие длинные... А потом и вся улица прознает... Вот где

горе-то... — печально пронеслось в голове трясущегося. — А там, между прочим, как на грех, живёт недалеко Иван Иванович, мой начальник, где квартиру получил, кстати, на две комнаты больше. Эх, и повезло ему... — Неадекватная мысль заклинилась и протряслась где-то в глубине головы. — А дойдёт до Ивана Ивановича бабкино враньё, как в новом доме этот тихий и честный новосёл тряс почтовым ящиком... Хотел в чужую квартиру залезть... Ключ искал... Эти бабки, изверги, напридумывают, насочиняют. А там Иван Иванович вызовет на ковёр... — он резко дёрнулся... — И что? Плакала моя репутация. Он суровый, ему наплевать, откуда ветер дует. Прицепится, скажет, что нет дыма без огня. А там, глядишь, и выгонит, выгонит ведь, как пить дать...

Продолжая ещё сильнее трясти ящиком:

— Хоть ты бы быстрее вывалился, гад ты ползучий. Ведь выгнать может без всяких дураков, — продолжала мучить погибельная мысль. — Ему только дай. А уж слухи — для него это малина...

Немного призадумался.

— Да я вроде ничего плохого ему на работе и не делал... — сопя продолжал трясти рукой. — Да где ты, негодяй плясучий?

В этот момент открылась дверь лифта... Он вздрогнул испуганно и вспотел... Жена ловко прикрыла мужа своим телом, как Александр Матросов амбразуру... Новый сосед вышел из лифта с запахом свежего вечернего воздуха, улыбаясь, приветливо поздоровался, спросил, чем он может помочь, и прошёл мимо них в квартиру напротив. Они с милой улыбкой вежливо раскланялись...

Как захлопнулись двери у соседа, малоизвестный житель стал ещё яростнее трясти, как грушу, этот ненавистный, вымотавший душу ящик. Неожиданно из него каким-то чудом выпал ключ и радостно зазвенел, отплясывая на полу лезгинку.

— Вот она, свобода, — тихо шепнул про себя. — Наконец-то... — ещё тише выдохнул. — Наконец-то... — и трясущейся рукой открыл дверь в квартиру. И быстро захлопнул за собой...

Продолжая с трудом вытаскивать руку уже в уютном уголке счастья — в своей квартире, не меняя своей свирепости и негодования и за отсутствием сочувствия, разразился трудно переводимой тирадой, которая не блистала яркостью новизны. Рукав, который надёжно держал измотавший душу новосёлам ящик с язвительной надпи-

сю «Почта», с лёгкостью отпустил его на свободу. От неожиданной развязки хозяин благополучной квартиры глубоко и облегчённо вздохнул крепкой грудью и с шумом выдохнул, увидев лежавшего на полу поверженного врага. Со злобой пнул его в дальний угол коридора. В полёте ящик что-то неприличное железно прогремел корпусом, и после заключительного слова, донёсшегося из дальнего угла коридора, малоизвестный житель скромного городка немного успокоился, огляделся. Увидел сидевшую на диване свою заплаканную жену. Подошёл к ней и обнял её. Тихо, с надеждой произнёс:

— Нет! Не уволит Иван Иванович...

Утром, на следующий день, наш новосёл не пошёл на работу. Решил отдохнуть и успокоить свои нервы. Вышел погулять и заодно сходить в магазин. В очереди за хлебом услышал все сплетни, происходившие в городке. И с напряжением ждал — о своём случае. Неожиданно одна из продавцов крикнула уходящей женщине:

— Ой, милая, не забудь передать моему мужу, чтоб не забыл купить новый ящик для писем и газет.

Новосёл слегка вздрогнул и принял непринуждённый вид. Его это не касается.

По дороге домой встретил сына.

— Папа, ты почему такой грустный? — не дождавшись ответа, продолжал звонким детским голосом. — В школе собирают деньги для цветов ветеранам войны, и наша библиотекарша поставила у себя ящичек для денег.

Он дальше уже ничего не слышал и прибавил ходу. Около дома, очнувшись, замедлил движение и увидел — на скамейке у подъезда сидели старушки. Бурно обсуждали новость. Одна из них говорила зычным голосом:

— Вот что скажу... Девчата... Пропал ящичек почтовый. Вот... Кто-то, наверно, его приласкал... И кому он нужен, не понимаю?

— Как кому! — вздрогнула и ответила скрипучим голосом известного певца сидящая на краю лавочки бабуля. — Ходят тут по подъездам разные прохиндеи. Что попадётся под руку, всё ломают. Вот и ящичек того — увели. А может, в этом ящичке переводик на пенсию был? А может, и секретное письмо из Москвы?

— Ну, уж придумаешь тоже, из Москвы... — возразил глуховатый голос. — Тут, милая моя, не такой прохиндей шарился.

— Вот... — энергично подхватил высокий и дрожащий голос.

Измученный вчерашней драмой, наш жилец пристроился незаметно на скамейке у другого подъезда. Напрягся и стал вслушиваться в разговор.

— Я думаю, всё тут нечисто, — продолжал увесисто зычный голос... — Я уже вызвала участкового и сказала ему о пропаже. А что? Того гляди и квартиру могут ограбить. Вот, кабы чего не вышло...

— Это запросто. Вон время какое наступает, и это правда, — сухо подтвердил глуховатый голос.

— А завтра, например, и другой ящичек уволокут. Не дай Бог, — и перекрестилась бабуля с высоким и дрожащим голосом.

— И что делать? Кто будет у народного добра тут дежурить? — спросила суховатая под стать своему голосу старушка.

— Приедет начальник милиции и всё тут разберёт, — решительно, по-хозяйски заключил зычный голос.

— Это уж точно! — поддержали хором, как ансамбль Александра, остальные бабушки.

Подъехала милицейская машина...

Дома, по телевизору, в новостях сообщили: мэр городка посетил предприятие по выпуску почтовых ящичков. Похвалил работников и сказал, что «ваша продукция очень нужная и надёжная и долго прослужит своим владельцам...»

Малоизвестный новосёл сидел, словно придавленный тяжёлым камнем в кресле, как сфинкс, и отрешённо смотрел последние новости.

Ночью измученному новосёлу стало плохо. Вызвали «скорую». Врач сказал — сильное переутомление, и надо полежать в больнице.

— Лежать, так лежать. Чего тут сопротивляться, — решил, измученный переживаниями, будущий больной.

Утром всесильный врач успокоил и выписал выздоравливающее лечение и процедуры.

— Хорошо, хоть немного полежу, может, уйдёт горячка — всё ж вдали от дома, нервишки успокоятся, глядишь, и дела пойдут, — мысленно себя успокаивал владелец злополучного ящика. — Как случилось, что он остался на руке, как пулемёт у терминатора? —

продолжал он прокручивать свои мысли и память... — А всё-таки Иван Иванович неплохой начальник. Я с ним много лет работал, и дела наши шли успешно. И в баню мы с ним, и на рыбалку. Вот не припомню, где я ему мог насолить, всё делал добросовестно, оставался после работы. А на рыбалке рыбку почищу, ущицу такую сварганю, что недельку вспоминает Иван Иванович. А где и премию подбросит, и путёвочку с женой — в профилакторий. Вообще, он хороший человек... И, вообще, за что меня уволить?.. — победоносно заключил свою мысль.

— Товарищ больной, примите лекарство, — на высокой мысли прервала сестра.

После приёма лекарства больной успокоился и стал дремать, а потом и вообще заснул крепким сном отдыхающего по бесплатной путёвке. Во сне он увидел Ивана Ивановича, который ехал на работу на большой машине в виде большого почтового ящика. В кабинете он сидел за столом в форме ящика с надписью «Почта». Во рту дымилась скрученная сигарка из газеты «Почтовые Новости». Стряхивал пепел в пепельницу из синего уральского камня в виде маленького почтового ящичка... показывая одновременно прокуренным пальцем на табуретку с надписью «Для писем и газет»...

Больной резко вскочил весь в холодном поту, протёр глаза, потом схватился за голову, начал трясти, сбивая что-то с головы:

— Что за сон дурацкий, — и продолжал трясти головой. — Наверно, я чем-то не угодил ему.

Сон продолжался, как наяву. Сквозь него он увидел премилейшего и любимого Ивана Ивановича в кабинете, где тот распекает его. И это меня, возмущаясь во сне, скромнейшего человека! Да... да... скромнейшего... и мухи не обижу. И плохого слова из меня не выдавишь. И терпеливый, как китайская ткачиха за станком...

— Ты почему, — грозно, по-партийному, спросил шеф, — плохо прибил почтовый ящик? И уже говорят, что ты по чужим ящикам орудуешь. Что ты там шарить по ним? Это не то занятие тебе. — И пригрозил. И постучал с грохотом по столу кулаком. — Я для чего дал тебе квартиру, да ещё рядом со мной? Э, брат перестал ты меня уважать. Уволю, вот и всё.

— Уволю... Уволю... — эхом отозвалось в сердце...

Новосёл пытался проснуться, но твёрдая рука начальника крепко держала за грудки.

— Это ещё не всё: а что скажут в главке? Каких я работников держу у себя на работе?.. Ты понимаешь, если слух дойдёт доверху, или какая-нибудь тихая и подленькая каракатица донесёт куда надо? Глядишь, Колыма быстро замаячит перед носом. А может, и подальше... И пойдешь, родимый, по сибирскому тракту. Вот! — и замахнулся кулаком...

В этот момент больной собрал все силы, как утопающий вздохнул — и со всей силы рванул с себя одеяло и резко сел на кровати.

— Батюшки, что это со мной? Не схожу ли я с ума? Верно говорят врачи, надо полежать немного. — Продолжал трясти головой, освобождаясь от сна. — И что я ему сделал плохого, даже во сне? Может, я не успел на рыбалке ему червячка на крючок надеть?..

В палату зашла жена, увидела взъерошенного мужа, заохала, запричитала...

— Что с тобой делается, милый? — спросила у замученного ночной драмой новосёла.

— Да вот приснится такое, что и в сказке не придумаешь, — ответил он.

И рассказал про страшный сон. Она сначала поверила, как наяву, потом спохватилась и рассмеялась.

— Дурачок ты мой миленький, вечно тебе всякая абракадабра снится, всему веришь. Несчастный ты мой. Успокойся, я тебе новость принесла. Твой Иван Иванович уволился и перешёл на другую работу с повышением. Так что ещё раз успокойся и спи спокойно.

В эту ночь малоизвестный житель города спал на удивление спокойно. Врач не нарадуется за больного — как быстро он пошёл на поправку. Стал хорошо кушать, и появились приятные розовые ямочки на щеках, за что его жена нежно любила. Перестал думать о работе, о начальнике и совсем забыл про почтовый ящик, который уложил его в больницу.

Из больницы он вышел окрепшим, с прекрасным настроением духа и с букетом цветов возвращался домой. Заходя в подъезд, немного напрягся, но взяв себя в руки, вошёл уверенно. Не глядя на

новенький почтовый ящик, который выделялся блестящим голубым цветом среди других, быстро вошёл в лифт... У двери квартиры жена подала ему новенькие ключи...

При виде этих блестящих ключей на лице его ожила нежная улыбка. Ему стало так легко и по-детски радостно, хотелось подпрыгивать высоко, как будто вырвался из тяжёлых оков, которые цепко его держали всё это время. Наконец-то теперь можно легко и свободно дышать. Открывая дверь, он ещё не верил счастью, что дома. На него хлынул аромат тепла и уюта.

А что с нашим ящиком для писем и газет случилось? Он, как нелепый случай, плавно исчез из его сознания...



УВАЖЕНИЕ

Ещё не прокричали на всю деревенскую околицу сонные петухи своими громкими с хрипотцой противными голосами заутреннюю песню, как в спящем доме раздался раскатистый голос.

— Эй ты, вставай, что, спать сюда приехал!?

В доме, в большой комнате, стоял мужик в мятой шапке, новых сапогах, казачьих с лампасами штанах, аккуратно засунутых в голенища, — и большими руками медленно стягивал с кровати одеяло.

От неожиданности гость, с трудом подняв голову, протирая глаза, невольно натягивая на себя одеяло и разглядывая здоровяка в мятой шапке, решительно возмутился:

— Ты кто такой? Какого тебе лешего надо в чужом доме? Размахался тут ручищами-то... душегуб!

Мгновенно мелькнула чудовищная мысль: «Тут и под глаз, ой какой фонарь можно получить. Кулаки во какие, потом докажи начальству, где и почём пряники продают. Позор...»

— Не... Не встану и не выйду, что хошь со мной делай! — кричал из-под одеяла нахальному и незнакомому мужику.

— Ишь, умник, спрятался, уже пять часов утра, а он — как от юбки мамкиной оторваться не может... Вставай, городской засоня! — как из ружья выстрелил.

— Ладненько... Ладно... Убедил...

Набрал воздуха, накинул одеяло, вышел на утреннюю прохладу на деревенское крыльцо, где стояли на расстеленной газетке стака-

ны, нарезанный домашний хлеб, с тонкими прожилками сало, варёная картошка с солёным огурцом — и бутылка водки.

— Вот это «специалисты»! Вот это уважают, — отметил про себя гость... Делать нечего, пришлось присесть к мужику в мятой шапке. Чуть ниже, он увидел, сидел другой мужик, с голубыми глазами, с просвечивающей лысиной в светлых кудряшках, похожими на женский парик. Почти у самой земли, вытянув ноги в изношенных сапогах, разместился ещё один, худой, с редкой бородой, напоминающий пастуха.

— Смотри-ка, живой, — глядя на гостя, воскликнул мужик с просвечивающей лысиной в светлых кудряшках, голосом неоперившегося петушка.

— И в телевизоре какой-то синий, — поддержал деревенский знаток с редкой бородой.

И показал на гостя пальцем.

— Эй, ты, обрубком своим давай-ка не тычь на него. Всё-таки уважаемый человек, по телевизору кажут, не то што нас с тобой. Тебе туда и мне дорога заказана. Вот... — махнул рукой, как отрезал, будивший гостя мужик. — И по телевизору не покажут, туды близко не подпустят, это тебе не в лесу одноручкой швыркать по пенькам да сучки хрястать, — с ехидной насмешкой изобразил движение пилой. — Да с похмелья кулаком кирпичи из печки вышибать. А тут заслушаешься... — с уважением взглянул на гостя и поднял большой палец.

— Вот... А как вчера хозяйка под балалаечку запела... на всю деревню! Словно по телевизору! Как в Кремле... Тут и думать не надо. Значит, гость к хозяйке приехал! Вот... — шмыгая носами, одновременно кивнули головами двое, поддерживая сказанное мужиком в мятой шапке. Вскоре забулькало, заиграло, засветилось в стаканах.

— Ну, мужики, давайте за гостя и за весёлую хозяйку.

— Ну, это же неприлично, с утра так начинать, — запротестовал гость.

— Да, да, неприлично... неприлично... — повторял мужик в мятой шапке.

— У нас гость, хоть в три часа ночи, ежели добрый и не держит злого умысла, всё прилично... А здесь к Вам с уважением деревенские мужики, да с интересом!

Крякнул себе под нос, махнул рукой, задравши назад голову, залпом выпил.

Делать было нечего. Уважать так, уважать, гость поморщился, глотнул из стакана.

— Вот, угощайся, уважаемый, — протянул кусок хлеба с салом, — Чтобы дух-то не потерять, однако, — заботливо поддержал мужик петушиным голосом с ранней лысиной в кудряшках.

— Кстати, а что дверь была не закрыта? — удивился гость.

— Кто ж в деревне двери закрывает-то, — ответил мужик с редкой бородой и повертел корявым пальцем, как ключом в замке.

— У нас, батенька, тут все уважаемые люди и дома при уважении, — склонил голову мужик в мятой шапке.

— А что с утра, так это по-нашему, по-деревенски, гостя надобно встретить, а то него же без нашего уважения ему тут быть. Неладно как-то, понимаешь...

— По-настоящему, это надо в хорошем месте, в ресторане, в уважаемом месте. Чтoб прилично выглядело...

— А Вы, дорогой гость, наш товарищ, думаете, что кто там сидит в этих местах в красных пиджаках за стеклянными столиками, с хрустальными рюмочками, за красивыми шторками в уютной обстановочке, это, по-вашему, кто — уважаемые люди? Ан, нет, по-нашему, это пустота, хоть и красивая с этими всякими художественными завитушками, хрусталяшками и прочимыми блестяшками, понимаешь... и со всякими не нашенскими манерами. Пустота всё это. Фу... Противно... — резко махнул рукой. — Нет там никакого уважения. Всё это чушь да обман. Сидят в ресторане, надуваются как индюки, и пыжатыся, и пыжатыся в красных пиджаках... Трясут рюмочками толстыми ручками, и голова-то у них блестит... понимаешь... блестит... похоже на тыкву. Хоть и круглая, да пустая, хоть по ней коленчатым валом стучи, всё равно пустая.

— А тыква!.. — многозначительно произнёс, поднимая палец вверх, — это важный продукт у нас в деревне, от него, знамо дело, удовольствие такое, что во рту три дня язык ищешь. Вот это уважение. Не чета вашему, в городских рестораничках с хрусталями, не нашенской мебелью, с музыкой — разорви уши да с неприятным запахом заграничных духов...

Тьфу... гадость... И что за радость прыскаться ими? Никакого уважения там нет. Обман один и только... Родины нет.

Поморщился, словно импортными духами побрызгался, с силой выдохнул, словно едкий пар выпустил.

Тут же огромной своей рукой со свистом резанул по воздуху, закрепляя свои, как ему кажется, правильные государственные мысли.

Со старого клёна неожиданно вспорхнула стайка птиц и с гамом уселась на крышу, вертя головками в ожидании хлебных крошек.

С нижней ступеньки мужик с выщипанной бородкой, долго державший стакан, едва успел увернуться от большой руки, напористо возразил:

— Слышь, браток, как всегда из тебя прёт какая-то чушь порсячья, тут ведь из города добрый человек приехал. А ты несёшь непонятно што. Ишь, как внимательно тебя он слушает... уважает, понимаешь, нашего брата. А ты... А ты... прёшь всякую дурь — как моя старуха на лавочке у сельсовета, где юбки до дыр просиживала.

Вытер пот со лба тыльной стороной ладони, держа между пальцами кусок сала, как игральную карту.

— Я так... я... не про него... это так... сдуру наговорил... — виновато взглянул на гостя и, решительно взяв себя в руки, продолжал. — Ты думаешь, я не понимаю, про что сказал. Вот у него надобно спросить, он тебе всё выложит, как на духу, всё правильно. Не зря по телеку кажут.

Гость только хотел что-то возразить или поддержать, как тут неожиданно открылась дверь, и на крыльцо вышла хозяйка.

— Что же это вы, голубчики, так рано за своё тоскливое дело взялись, ещё петухи горло не продрали, да роса на столбах не просохла. А вы уже моего гостя туда же тянете, этакие разбойники. Доброму человеку отдохнуть не даёте. И за что вас дом не любит. Всё сидели бы да в стакан смотрели, как на луну....

Только собралась дать нагоняй, как из стайки раздался раскатистый голос петуха. Ему в ответ мгновенно заголосили разнопёстрые петушинные голоса, словно приветствовали почтальона с долгожданными известиями...

— Вон аж петухи нашенские возмущаются, что гостю мешааете, — с укором взглянула на незваных гостей и пригрозила пальцем.

— Да ведь с нами никто по-человечески не говорит, — виновато промолвил мужик с голубыми глазами и лысиной в кудряшках. Едва не выронив стакан, с робостью глядя на хозяйку, он с детской наивностью произнёс. — А гость-то поговорит с нами, да поиграет на балалаечке, всё ж по-человечески. А где ещё услышишь такое? — как бы извиняясь за просьбу, продолжал глядеть на неё...

Хозяйка махнула на него рукой и быстро ушла в дом, не слушая его.

— Телевизор уже не тот, родной песни не услышишь, по радио один хрип, как душу украли, — виновато приподнял плечи, глядя на дверь, продолжал голубоглазый. — Срам один. Только одно от этого унижение. Посмотришь в телевизор, в эту чёртовую дыру, глянешь потом вокруг себя — и отцовский дом, понимаешь, тебе уже не родной, и баба чужая, злющая, и в песочнице никто не играет, как мор по деревне прошёл, словно всё вдруг чужое стало, не родное. Река какая-то неказистая, и рыба туда же. И людей не узнаёшь.

Чёрствыые какие-то. Вот ведь беда какая... И куда податься русско-му мужику. Только что в родную баню, к «дручку». Зайдешь к нему, попаришься, поговоришь да стаканчик примешь. Вроде, как и дома. А уж балалаечку услышишь, то и вообще, всё вокруг роднее и теплее. Да и домой тянет... Вот ведь закавыка какая. Нет нам уважения!..

Неожиданно из-за забора, заросшего густой малиной, раздался слабый дребезжащий голос:

— Эй, мужики, чё с утра-то пьёте без меня? Не уважаете, что ли, однако? Не хорошо, — проскрипел с укором.

— А ты, что, ягодка малиновая, тебе что, ко рту рюмочку преподнести, как конфетку что ли? Вот здесь уважаемый человек из города приехал... степенно беседуем, — и привычным жестом отрезал рукой кусок воздуха.

Гремя ведром, из дома на крылечко неожиданно выскочила хозяйка, в наспех завязанном белом платке, старом мужском пиджаке, с босыми ногами в больших галошах.

— А это ещё кто? Это что ещё за чудо прячется за забором? Только развали его, на лопате в печке зажарю, — качая головой, взглядываясь в заросшую малину, с удивлением сказала хозяйка.

Услышав её голос, в стайке неожиданно что-то шлёпнулось, захрюкало, задвигалось, зашумело. Послышалось долгое мычание, подхваченное блеянием овец.

— Ой, корову не доила, пора в поле выгонять, а я тут с вами олухами замешкалась, — торопливо махнула рукой, прихватила доёнку и, с оханьем и причитаниями, убежала в стайку, к животным...

— Это «дручок»... банщик, — провозжая её взглядом, обратился к гостю мужик с кудряшками.

— Так вот, — продолжил старший, прерывая его. — Когда мы лес валили, то он сучки на дрова рубил...

— Заблудший он, — петушиным голоском добавил снизу. — Живёт один в бане.

Марья слепая, девяносто годков, пожалела, пустила, непутёвого. А там и для дома дрова наколет. Воды принесёт. Да и за баней приглядит.

«Дручок» жалостливо застонал высоким нервным голосом из-за потемневшего, заросшего в густой малине забора.

— Наверно, не отстанет, помирает, однако, — и с налитым стаканом подошёл к забору мужик в мятой шапке.

— На, таракан запечный! Выпей, да и забор не трясина, а то хозяйка из нас с тобой связку дров сделает. А нам с человеком поговорить охота.

«Банщик» торопливо махнул стакан, отцепился от забора и, тяжело ступая босиком, пошёл по улице в деревню.

— В лесу придавило, — высоким скрипучим голосом продолжал мужик с нижней ступеньки. — Лесина прошла мимо, краем верхушки зацепило, слава Богу, а то на могиле пришлось бы ему ворон считать. Я ему говорил: не надо добрый лес валить, не надо... А он знай, делает своё нехорошее дело. Мы-то сухой лес валим, да чтоб почище было. Лес чистоту любит, уважать его надобно: внукам пригодится, а там и правнукам глядишь... Не умрёт лес-то... выживет... да и нас не забудут... будут с уважением помнить... — замолчал, стряхивая с ладони на землю крошки хлеба.

Откуда-то неожиданно прилетел голубь и стал клевать крошки. Тут же слетели с крыши воробьи, и наперебой, с весёлым чириканьем, занялись делом.

— А ты балалаечку вынеси... вынеси... веселей будет, — поправляя шапку, повернулся к гостю.

— Да, да... конечно, повеселей... — робко слышалось снизу.

Зазвучала русская мелодия, мелодично рассказывала тихо с грустью о чём-то близком и родном, постепенно захватывая их своими звуками.

Мужики молча слушали. Думая о своём. Наверное, о земле, о доме, о будущем. О том, что им не хватает. Ищут ответ. Наверно, на главный вопрос, об уважении. Ведь самой природой, как смысл жизни, это чувство заложено в русском человеке.

Может, мужичок с голубыми глазами и ранней лысиной вспомнил недавнюю зиму, где на охоте его, провалившегося в снегу, едва нашли замёрзшего, и как жена со слезами на глазах с любовью отогревала его. Вспомнил, как детей в школу водили и провожали, как радовались первой оценке сына.

Как пожилых родителей с теплом окружали ...

Может, мужик с редкой бородой, думал о деде, как он во время войны нёс на себе через фронт немецкого «языка», плечом поддерживая раненого комбата.

Может, о том, что нехватка уважения к себе не даёт уверенности в жизни. И как уважение сродни любви, когда ко всему душой прикасаешься.

Может, уважение где-то в далёких поколениях затерялось и каким-то неизвестным образом исчезло.

О чём говорит мелодия? Наверно, об оставшейся частице любви и уважения. А может, всё это даст воскрешение надежды, не ушедшей вглубь человеческой памяти, прячась от исторических невзгод. Возможно, мудрая интуиция и светлая вера даст почувствовать: не потерялась, не затаилась душа в лабиринте таинственной человеческой судьбы ...

Возможно, ещё много неизвестного поведают звуки родного инструмента в душе русского человека ...

Яркие лучи утреннего солнца высветили ещё спящие тёмно-серые облака с нежным розовым оттенком...



ДУМАЙ, МАТУШКА...

В тихом малоизвестном предприятии дела шли неплохо благодаря матушке. Коллектив её любил и побаивался. Матушка — так её звали за трудолюбие и не только. Она выглядела солидной и по весу, и по положению. Вела экономный образ жизни. Цену всему знала и этим дорожила. Муж у неё худенького телосложения, казалось, на чём жизнь держится. Он тихий и скромный, с навсегда утраченной необходимой для мужского пола решительностью. Это не помешало в важный период в их жизни, поехать на море отдыхать. Святое дело: здоровье поддержать и на мир поглядеть.

Сняли жильё у моря и пошли загорать. Народу на пляже — яблоку негде упасть. На пляже она строго, властным голосом директора малоизвестного предприятия, наказала беречь сумочку с накопленным бюджетом. Мало ли что может случиться, думала она о наказе родному мужу, лёжа на песке. Она особенно ему не доверяла, поскольку его хилый вид мог привлечь охотников за их семейным счастьем. Лёжа на песке, она мучилась, идти в воду или делать вид, что загораеть...

Муж плескался с радостью ребёнка, так как долгие годы потрачены на домашний уют и на продвижение по службе, где начинал с маленькой должности упаковщика картонных коробок и до старшего упаковщика хлебных булочек.

Море его разгружало от нудной и мало оплачиваемой работы. Неутраченное детство со всей страстью выплёскивалось на набежавшую, сверкающую волну в брызгах яркого солнца.

Его сладостный восторг перекликался с криками ныряющих в море детишек.

За этой радостной картиной наблюдала строгая жена. Толи она с трудом выдерживала его скрытую радость, толи ещё хотела порадоваться за нерастраченную детскую энергию, как вдруг услышала крик со стороны моря, который нёсся по воде, вклиниваясь в её ухо.

Низкий женский голос кричал кому-то на берегу.

— Эй... сиди... и не уходи... следи за сумкой, там сбережения накоплены моим нечеловеческим трудом, ты понял? — эхом разнеслось по пляжу.

Жену худосочного мужчины, радостно плескавшегося с ребятами в море, неловко передёрнуло, и она застыла. Женский низкий голос, летящий с моря, продолжал истерично кричать кому-то на пляже.

— Эй! Я говорю — сиди и поглядывай!

Она поглядела в сторону уходящего звука вглубь пляжа и заметила растерянного мужчину, который сидел на песке, прижимая к себе женскую сумочку. Он был длинный, худой, острые колени были сжаты и торчали на уровне очков. После очередного пожелания с моря нервно вздрагивал. Такое ощущение, что наказания он получал от самого Нептуна — царя морей. Может, думал он и о том, что информация о накопленных сбережениях как раз и привлечёт охотников за чужим добром...

Его бледное тело выделялось белым пятном на фоне загорелых и резво прыгающих ребят, что постоянно мелькали у него перед глазами. А голос с моря волной доносил ещё более грозную информацию на низких частотах. Картина повторялась через безжалостное короткое время, и худосочный герой пляжной истории сильнее бледнел и ещё больше уходил в коленки, с нарастающим чувством нервного расстройства, цепко держа в руках, удивительно похожую сумочку, как у наблюдающей матушки, которой стало не по себе, глядя на этого несчастного человека. Его то и дело закрывали весёлые, загорелые, играющие в мяч юноши, усиливая трагичность вида неподвижного, скорчившегося и спрятавшего

в коленки голову... У матушки неожиданно появилось странное чувство...

С каждого идущего с моря грозного окрика усиливалось чувство справедливости и жалости к этому сидящему на песке страдающему человеку. Как же так, такого скромного и честного человека, в общественном месте так выставлять, негодовал внутри голос с материнской чуткостью...

Небольшое облако пыталось закрыть солнце, испуская бледную тень на отдыхающих пляжа.

Она продолжала делать вид, что загорает... Что-то в этом событии матушке показалось до боли знакомым ...

Она очнулась толи от жалости, толи от негодования, когда весёлый муж взмахнул руками и стряхнул с ладони на неё брызги морской воды, невинно по-детски засмеялся...



МУЗЫКАНТ

На верхней полке не совсем молодой музыкант под лёгкое покачивание вагона слегка дремал.

— Ну, подумаешь, — словно кто-то ему нащёптывал сквозь шум вагона. — Ты лежишь и тебе уютно, хорошо. А ведь мог ... а ведь...

Этот тайный упрёк стремительно захватил его мозг, словно с ним кто-то вёл душевный разговор.

— А ведь мог быть не простым музыкантом, — затронул голос его застаревшие струны тщеславия. — Ты ещё не раскрытый скрипач. Да... да... скрипач. Ну, например, как Спиваков. Инструмент у него замечательный, международный. Это конкурсы, частые гастроли, мировая слава...

Так приятно зазвучала в сознании эта чудесная мысль... Вагон лениво и мягко покачивался...

Неожиданный толчок. Мысль оборвалась. Исчезла, как и пришла.

— Ну да ладно, — успокаивал он себя.

Пальцы стали быстро перебирать и сжимать постельную простынь, как бы исполняя финальную часть «Чардаша» В. Монти.

Только он начал дремать под уютное покачивание вагона, как таинственный голос зазвучал снова:

— Ты талантливый... ну, не получилось со скрипкой, зато у тебя замечательные руки, как у прирождённого дирижёра.

Его опять захватил прежний тайный упрёк...

— Почему бы и нет?

Он резко перевернулся на бок, и, закрыв глаза, поплыл.

Голос продолжал бархатным обволакивающим тембром...

— Ну, например, как Гергиев. Ты взмахиваешь палочкой, и перед тобой божественно и мощно звучит оркестр, как первозданная природа. Под пальцами твоей руки идут нити неизведанных судеб, величайшей любви и трагедий. Сколько страстей, разочарований, человеческих драм в твоих пальцах. Взмахом руки ты раскрываешь пророческие замыслы великих композиторов. Можешь изменить судьбу не только одной личности, но государства, и ты — властелин мира...

Уткнувшись в вагонную подушку, продолжал слушать откуда-то льющуюся медовую речь.

— Мировые концертные залы в разных странах ... — настойчиво вещал голос. — А дома почёт, награды, звания и самый главный знак отличия из рук президента — всё это может быть в твоей скромной жизни музыканта.

— Ух ты! — взволнованно несколько раз перевернулся на верхней полке и твёрдо лёг на спину. От такой мысли едва успокоился, собрался и начал медленно дирижировать одной рукой, потом двумя и представил под покачивания вагона, что он уже дирижирует большим симфоническим оркестром. Тут он вспомнил занятия в консерватории и уже забытыми жестами начал размахивать руками и так увлекся, что представил лондонский оркестр, исполняющий знаменитую симфонию Моцарта...

Внизу у окошка сидели и шептались две старушки. Они невольно обратили внимание на человека на верхней полке, который лежал на спине с закрытыми глазами и размахивал руками.

Бабульки давно с интересом за ним наблюдали... После небольшой паузы в разговоре одна прошептала:

— Что это с ним?

— Да не знаю. Наверно... может заболел? — обеспокоенная, ответила другая.

— Давай посмотрим, как бы чего не вышло.

— Да... Да... Конечно.

— Смотри-ка, после того, как проводник прошёл мимо, что-то часто руками замахал.

— К чему бы это? Наверно, дома у него плохо, что ли?
— Да нет, с виду, кажись, нормальненький...
— Смотри-ка: то одной рукой трясёт, то другой.
— А ты не обратила внимания? Одну держит высоко — она у него как мёртвая, а другой сильно трясёт.

— Вот... Вот... Я тоже заметила... У нас в деревне такой же был, тоже руками тряс, так его с трудом, но поймали, и — в психушку. А он трясущимися руками врача скорой помощи шибко покалечил. Дай Бог может вылечат от такой заразы.

Обе перекрестились.

— Ой, горе-то какое, — выдохнула старушка и вытерла слезившиеся глаза платочком.

— Это чё... В нашей деревне тоже один тряс руками, так милицию вызвали. Поймали, однако. Ой, какой изверг-душегуб попался. Его вся милиция по фотокарточке долго разыскивала. А он больного из себя изображал, так спасибо нашей бабке Фёкле, которая заметила его у колодца и сразу сообщила куда следует. Вот.

На полке пассажир, увлечённый своей музыкой, продолжал дирижировать.

— Слышь, может проводницу попросим, может человеку плохо да сказать он не может?

— Да... Да... Наверно, не может.

— Руки у него на убийцу не похожи. И на больного тоже.

— Ты, слышь-ка, вроде запел или замычал, как телёнок после отёла, — прошептала бабушка с платочком.

— Ой, наверно, ему плохо, — продолжали рассуждать старушки.

— Ой, ой... смотри, руки несчастный высоко поднял и как-то странно трясёт ими.

— Ой, к нехорошему, ой, к нехорошему... Наверно, вскоре помрёт. Ишь, к Богу готовится, однако...

— Ой.. Ой... Поди кума хоть какая-то таблетка у тебя есть? Вот опустит руки, так ты ему таблетку-то и поднеси. Вот. Не поднесёшь вовремя, умрёт, родименький, да ещё упадёт с полки-то и чё мы с тобой делать будем? Мол, глядели да разглядывали... глядели да разглядывали, как слепые курицы. Да проглядели. Нет, чтобы человеку вовремя помочь.

А милиция придёт, чё говорить будем? Как бесплатное кино смотрели. Вот. Ведь нас с тобой могут за просмотр и в каталажечку прибрать. Поди-ка, нас и родственники не найдут. Вот тебе и горе, — опять платочком глаза протёрла.

Продолжала.

— Ты у нас Машку, которая на углу в деревне жила по нашей улице, помнишь? Только из окна немного посмотрела, так ведь упрятали её. Кто-то на неё показал, мол, из-за занавески долго смотрела и ничё никому не сказала. Не сообщила. Вот. Правда, молоденький милиционер её выручил. Женился на ней. Теперь на том углу вместе живут. Вот.

— Смотри-ка кума, и действительно руки на грудь положил. Ой, горе какое, ой, горе. Я же говорила. Доставай таблетку скорей, поди ещё дышит.

— Я таблетку-то, голубушка, вчера последнюю выпила, что делать-то? Глянь, ты ведь глазастая. Мои глаза плохо видят. Наверно, уже и посинел. На руки, на руки посмотри... Сложил, как в церкви. У нас дед Митька ещё жив был с первой мировой, давеча помер. Два часа с руками-то маялись — всё приладить не могли. Видно, войну не зря прошёл, закалённый однако...

— Ничего себе не видят у тебя глазёнки... Моего мужика далеко... далеко... по деревне выглядишь, как он с рыбалки по дворам прячется, чтоб его не сплазили.

— А своего храпящего, однако, рядом не слышишь и ничё не видишь, однако. С таким-то...о... храпом и кряхтением в колхозе надо робить. Вот так...

— Ладно, спорить. Ну-ка смотри, рукой тихонько дёрнул. Услышал, небось, что мы с тобой о нём переживаем.

Чуть вздохнули.

— Слава богу, живой! — одновременно перекрестились.

Пассажир на полке руку опять на грудь положил.

— Ой, наверно, действительно того, готовится, — охнула старушка с платочком.

Музыкант на верхней полке приоткрыл глаза, увидел, что только две старушки в купе, обрадовался.

— Какие милые, как они меня понимают, наверно, обо мне шепчутся. Видят, что я хорошо дирижирую и движение, как у профес-

сора консерватории, и что отрадно, зрительский интерес появился. Уж не так всё плохо.

Вагон быстро стучал колёсами. Пожилые пассажирки прижались к стенке купе.

Тут он решил продирижировать польку-галоп, чтобы показать быстрый темп.

Начал с коротких движений и тихонько напевал. Носочками начал ритмично дёргать.

Раз-два, раз-два.

— Ой, ой... смотри, руки несчастный высоко поднял и как-то странно трясёт ими.

Бабушка с платочком нервно привстала, чтобы убедиться, что ноги дёргаются. Перекрестилась и говорит.

— Ей Богу, какая-то заразная болезнь.

— Слышь, кума, что-то очень похоже на какую-то африканскую заразу. По радио недавно о ней говорили, что с ног всё начинается, дальше не помню, да и глухая уж стала.

— Да, да... я что-то слышала. Когда поросят на бойню ведут, у них тоже ноги дёргаются. Говорят, кто-то занёс её... или американцы подсунули, чтобы уморить нашего брата... Ой, горе какое ... ой, горе...

Пассажир уже начинал дирижировать в быстром заключительном темпе польку-галоп. Руки собраны, движения резкие и быстрые. Тут же начал ритмично сгибать и разгибать ноги, махая руками.

— Ты правильно говорила, что болезнь африканская — уже судороги начались, надо что-то делать, ой, что-то надо делать... У меня уже сердце не выдерживает, глядя на бедолагу.

— Посмотри-ка, кума, и у меня рука что-то начала дёргаться, — заволновалась, держа платочек в руке.

— Да ты не смотри на него. Говорят, эта африканская зараза через глаза передаётся.

— Ой, горе какое, ой, горе... — закачала головой кума.

— Ни радости, ни горести с этим мужичком. Может, к нему, к полке-то, подойти, да и спросить тихонечко про здоровье, наконец, а то паровозик надобно остановить да скорую вызвать, она, говорят, в этих местах шибко бегают. Вон видишь дома добротные,

да высокие. Небось культурно и помогут бедолаге, а? Как ты думаешь?

— Оно, мол, так и так, да как ты паровозик тут остановишь? — занервничала кума.

— Ну, тогда проводника надо позвать.

Вскоре по вагону, напряжённо вглядываясь в пассажиров, шёл милиционер и за ним — женщина-врач в белом халате.

Бабушка с платочком осторожно обратилась к врачу

— Дорогая сестрица, посмотрите на того мужчину, что на верхней полке. Он как-то странно себя ведёт и с какой-то болезнью ездит по железке. Вот. Переживаем о нём, да нам страшновато.

Милиционер подошёл к мужчине и тронул его за дёргающуюся ногу. Музыкант так вошёл в образ, что не почувствовал. Врач решил помочь и попытался поймать за руку. Но наш герой дирижировал заключительный финал «Праздничной увертюры» Шостаковича.

— Вот... Вот, — хором пропели старушки, — ведь мы правильно вам говорили.

Врач кивнула головой милиционеру и села срочно писать за столиком.

— Наверно, про его болезнь пишет. Ой, упекут в психушку... Ой, в весёлый домик... Ой, горе-то какое, наверно, точно упекут, — повторила кума.

Милиционер резко дёрнул за ногу. От неожиданности музыкант резко поднял голову и сильно ударился головой, упал на подушку и замер.

— Завернуть в простыню и на следующей остановке сдать скорой помощи, — твёрдым голосом, продолжая писать, сказала медработник.

— Нет, дорогой врач, сначала в милицию — он нужен для плана, — возразил милиционер и приятно улыбнулся.

В это мгновение поезд резко тормознул, и музыкант едва удержался.

— А если бы упал... — с ужасом подумали старушки и переглянулись...

— Точно бы помер, — замерла и сжала платочек.

В купе неожиданно заглянул мужчина с крупным лицом ...

— Долго нам ждать или думать будем?

Бабушки, глядя на него, сильно прижались друг к другу.

— Ещё не скоро, — ответил, не поворачивая головы, пряча улыбку, милиционер.

Врач кивнула головой, что-то про себя мыча.

— Ещё надо нам успеть, — сказала она с хирургической интонацией и, не меняя её, продолжала. — Там через два вагона с полки какой-то тоже ненормальный упал, проводница срочно вызвала...

— А зачем так рано? — скривилось большое лицо.

— Может, и не рано, — подтвердил милиционер, с детской улыбкой, взглянув на дверь, где торчала эта голова, и увидел двух старушек, прижавшихся друг к другу от испуга. Голова мгновенно среагировала, прищурил глаза, взглянула на бабушек.

— К вам ещё рановато.

Дверь в купе захлопнулась.

— Это что ещё вы тут задумали? — спросила старушка, вытирая слёзы платочком дрожащей рукой. — Это что за человек за дверью? — выпрашивает она у врача

— Не волнуйтесь, это хороший человек, очень известный, из нашей фирмы «Земля и люди», — сказала врач уже мягким голосом.

— Это что?.. Это что за этакая фирма «Земля и люди»? — волнуясь, переспросила, набираясь смелости, одна из старушек. — Это что такое... Мы, однако, тут переживаем за хорошего человека, и что! Если у него африканская болезнь, что и нас туда же хотите. Не дадимся! А этот мужик с лицом, как луна на закате, с воробьиными яйцами вместо глаз, сильно нас напрягает. И что? — и резко взмахнула рукой, продолжая. — Вот мы, честные труженицы, всю жизнь лопатили, не жалея ни себя, ни наших родственников, нахватались этих разных болячек, что по сей день по телу как муравьи бегают, изъедают нас грешных...

— Да... да.... — суетливо поддакнула другая, протирая глаза платочком.

Музыкант продолжал лежать с каменным лицом. Он уже не дёргался, лежал тихо и смиренно, понимая, что лишнее движение усилит к нему интерес. Тут две старушки резко встали. Замахали сильно руками, как бы разгоняя стаю ворон.

— Не дадим! Ещё раз говорим, не дадим в ваши неизвестные руки. И никакая у него болезнь... Это он во сне что нервное видит и

поэтому трясёт руками. И у вас такое может во сне, а может, и того хуже. Ишь, кулачища-то отрастил ваше большое лицо за дверью, небось, во сне кого угодно измытарить сможете. Только вам попадись, однако! Так живо упрячете в вашу гнилую контору, как её эту холеру называют, — потом с волнением и возбуждением выпалила, — «Земля и люди»? Надо же, «Земля и люди». Так вот вы живёте... И никому не мешайте... И нам тоже не мешайте...

— Может, он человек хороший и семья хорошая, может, он домой едет из какой-нибудь тяжёлой командировки?

— Ой, миленькие, ой, не трогайте его, — заголосила бабушка с платочком.

Дверь неожиданно открылась, и мужчина с крупным лицом крикнул.

— Остановка, выходим!

Врач с милиционером быстро выскочили из вагона, и поезд тронулся.

За окном остался населённый пункт с большими домами. Свежий ветер залетел в открытое окно.

Сидящие у окна перепуганные старушки вздохнули. Посмотрели на полку, где лежал неподвижно музыкант.

Дверь неожиданно открылась, заглянул молодой проводник.

— Чайку не желаете?

— Вот и он, — ещё свободней вздохнули обе старушки.

— Уважаемый товарищ, скоро ваша остановка, — проводник учтиво предупредил музыканта.

— Смотри-ка, у него чемодан какой-то странный. Такой же чемодан, как у недавно помершего деда Митяя. Он со второй войны его привёз, на старом деревянном диване у него лежит. Говорит ёкардеон, немецкий, трофейный. Так и не показывает, и не даёт. Вот. Когда дома нет никого, достанет эту трофею, чёрненькие и беленькие кнопки протрёт мягким платочком, тихонько запиликает, потом резко растянет трофею и держит этот рёв, как вроде самолёт гудит. Говорит, войну напоминает. Переживает, однако, её, окаянную... А так для внуков бережёт, может, ему когда и сыграют по-настоящему про войну-то. Да и деда вспоминать будут. Вот...

— Однако, музыкант, наверно, — смахнула с глаз платочком пелену.

Музыкант взял с верхней полки свой небольшой чемодан и вышел. Поезд тронулся.

— Как на его чемодан посмотрела, как жизнь заново прожила, — с грустью сказала кума, держа стакан с чаем.

— Да ладно страдать...

— Да ведь вся и пролетела.

— Ты, наверно, по стране-то колесила.

— Да, пришлось проводником трястись...

За окном потекли длинные струйки дождя, скатываясь в крупные капли, с ветром исчезали во тьме дороги.

Вдруг они почувствовали, что-то ушло вместе с этим пассажиром.

Забывтая суета, забота, человеческая жалость и сочувствие...



ПОСИДИМ...

Автобус из Москвы пришёл с опозданием. Было поздно и темно. На моё счастье недалеко стояло такси. Это был последний шанс добраться до дому.

— В этом ничего удивительного нет. Везде происходят такие случаи.

— Да, конечно, — якобы меня не замечая, не поворачивая головы в мою сторону, было сказано водителем куда-то в пустоту. Мне показалось немного странным его поведение, но я уверенно сел в такси, вытянул ноги насколько возможно и стал ждать. Загудел мотор, и мы двинулись. Толи случайно, толи намеренно, толи ещё какая-то причина, он включил радио, и тихо зазвучала песня «Ой, рябина кудрявая» из далёкого родного городка.

Потом ещё одна забытая песня. Мне сразу захотелось поговорить с шофёром, порадоваться и поблагодарить за такой сервис. Но зная, что народ этот разный, и что тебе навяжут в дороге, так сиди и слушай. Хочешь или не хочешь, а водителя уважай. Но моя, уж не знаю, как и сказать, скромность и застенчивость в последние годы выработало привычку: одеваю «деревянные наушники» и, не обращая на причуды водителя, тихонько жду.

А тут, на тебе, «Одинокая гармонь». Я улыбнулся — это любимая песня моей мамы. Мне вдруг ясно представилось, как она вечерами тихо пела, а я сидел за столом, рисовал зелёный дом на бумаге от дешёвых карамелек, стараясь ей подпевать. Она со слезами рассказывала, как отец прекрасно пел, играя себе на баяне. Вдруг я почувствовал, как подкатывается комок к горлу...

Пока мы ехали, шофёр поставил диск с новыми песнями. Я говорю ему.

— Как хорошо, что в такой маленькой машине звучит мировая песня. Как это здорово.

Шофёр, глядя на меня, ничего не сказал. Промолчал. Уже через несколько минут зазвучала другая известная песня. Сначала мне показалось, что это по радио. Как раньше, в советское время. Она вызвала такую ностальгию...

По радио в последние 10-15 лет исчезли русские и советские песни, которые уже давно стали народными, частью нашей души.

Водитель, видя, что как я реагирую на его старания, поставил новый диск с сборником куплетов из разных песен. Тут он, как говорится, достал меня.

За небольшое время пути я прожил все свои годы. С этими песнями пел и жил наш народ, скрепляя души. Это была суть нашей жизни. Вставали и ложились с народными песнями. Какая естественная потребность — петь и слушать. Чем больше пели, тем крепче был дух, сохраняя удивительную душевную чистоту.

Машина остановилась у дома. Пора выходить. Я ему протягиваю деньги, он поглядел на меня немного, помолчал, потом сказал.

— Денег мне не надо, а давай посидим.

Для меня это было неожиданно. Я взглянул на него, увидел в его в грустных глазах надежду. В его взгляде было что-то родное, удивительно знакомое, редкое.

За столь небольшое время, слушая песни своей юности, где был простор души, веры и надежды, а жизнь кипела с пронзительной романтикой будущего — все это вызывало трепетное и трогательное чувство. Как песня жаворонка, которая не угасла, не исчезла, не потерялась в паутине лет, и только природой дано, в лучах солнца, петь ярко и пронзительно, во славу жизни и любви, насыщая величественным эхом, далёкие уголки родного края...

Глаза грустно, вопросительно продолжали смотреть на меня. Я махнул рукой и решительно сел в машину.

— Давай посидим.

Невыключенные фары, тихо и ровно гудит мотор, две застывшие тени в кабине, и родные мелодии негромко льются из чуть открытого окна машины, застывая перед домом ожидающего хозяина.

— Давай посидим...



ПРОСВИРОЧКА

Рождество. Светлый праздник. В этот день особенно хочется побывать в церкви. Вот еду по дороге, которая ведёт к храму. Из-за лесного поворота появляется прекрасный вид на долину реки. В еловой гуще на холмистом берегу выглядывают голубые маковки храма, сверкая золотыми крестами в утренних лучах солнца. Что-то волнует и трогает. Ожидание чуда? А сколько таких, милому сердцу храмов, по всей России?!

Чем ближе подъезжаешь к храму, тем радостней встреча. Через несколько мгновений уже преклоняешь колена и прикладываешься к иконам под тихую молитву. Недалеко от алтаря, у иконы Божьей Матери, исповедует прихожан батюшка. Народ тут разный, и все сосредоточены. Тайна исповедания несёт очистительный душе покой и делает всех ещё более родными по Божьей милости. Как-то на исповеди батюшка спросил меня, какой деятельностью занимаюсь. «Музыкант? Так я и думал...».

Почему он вдруг спросил? Не знаю. Но позднее задумался.... Прошло время, и на следующей встрече перед причащением я подарил диск с записью нашего исполнения. Он был рад и, потом признался, очень удивился необычному звучанию балалайки. В детстве от родных слышал, как на балалайке играли русские песни, частушки и наигрыши. А тут что-то новое, необычное...

Вспомним историю нашей культуры и факты утаивания, небрежного отношения к народным инструментам, вплоть до их уничтожения. И вот на светлый праздник в православной школе для детей и прихожан мы дали концерт. Звуки балалайки и гитары всколыхнули души слушателей. У ребятишек искрились глаза, взрослые одобрительно кивали головой, поддерживая ребятишек. Для нас это был особенный праздник, мы порадовали зрителей ещё и тем, что рассказали о балалайке с её удивительными возможностями игры. То она поёт, то смеётся, то страдает, а порой в пляс сами ноги идут. Такая у неё душа русская! Мы и сами испытали духовный подъём и истинную радость. Приходилось же порой встречать у нынешней молодёжи пренебрежение к балалайке. Но встреча в храме грела особенным теплом.

... Самолёт из Новосибирска мягко приземлился на полосу аэропорта. Выходящих из самолёта встретил, закружил московский морозец. На улице гулял крещенский праздник, с хорошим настроением поехал я в свой храм. Перекрестясь, вошёл в церковь и попросил наполнить бутылочку крещенской водичкой у женщины в тёмном платочке. Она с улыбкой исполнила мою просьбу. Поблагодарив её и поздравив, опять перекрестясь, я почувствовал: кто-то тихонько трогает мой рукав. Я обернулся. Рядом со мной стоял мальчик и, глядя на меня своими голубыми глазами, что-то шептал. Ничего не поняв, я увидел протянутую ко мне маленькую руку. Он почувствовал, что я не понял его, повторил громче и разжал ладонь. «Это вам», — ещё настойчивее повторил. Я увидел просвирочку в его ладони. Удивился и спросил: «Это кому?» — «Это вам». «А зачем, это же твоя просвирочка?» — «Да, это моя, но я её Вам дарю за то, что Вы так хорошо играли, и я полюбил балалайку». Вот тебе и чудо. Я растерялся, стал отказываться, но голубые глаза мальчика взволновали меня — и я поддался. Аккуратно завернул в чистую бумажечку, поданную женщиной, которая с интересом наблюдала и, видимо, переживала за мальчика.

Я думал о мальчишке в машине, пока ехал в больницу к своей внучке. Она обрадовалась, когда я достал завернутую в чистую бумажку просвирочку и положил ей в ладонь: «Это тебе на здоровье, как и святую водичку». Она перекрестилась, с любопытством и тихой радостью взяла и поблагодарила Бога, перекрестясь, долго разгля-

дывая простые дары. Так просвирочка соединила нас троих Божьей благодатью. Вскоре внучка выздоровела, и потом долго вспоминала просвирочку, которая «её вылечила». Может, она не догадывалась, но душой чувствовала посланную любовь от Бога, которая согревает и приносит радость. В глубине души этот маленький, зажжённый просвирочкой, огонёк останется на всю её жизнь. Может, он поможет в жизни обрести что-то большое, и она передаст огонёк Божьей любви своим детям и близким. Это маленькое чудо свершилось незаметно, скромно, в церкви со святой водой. Но какой духовной силой обладает послание Божье любви друг другу! Удивительная проявилась связь с народным искусством и верой, выразилось в скромной просвирочке. Как компас души. В это время, когда духовная сила спит и нередко отдано другой страшной тёмной силе.

Вот такое чудо, выраженное в простой просвирочке.



ТО ЛИ СЕРЕБРО

*Посвящается моему деду
Маркову Александру Фёдоровичу.*

Электричка постепенно набирала ход. За окном исчезала картина вечернего пейзажа. Замелькали дома, какие-то строения, исписанные раздражающими красками и рисунками гаражи. Электрические столбы, как бы шагом, постепенно набирая весёлый темп, стали стремительно убегать, рябя в глазах. Двери вагона распахнулись, и, втащив небольшую сумку на колёсиках, пожилая женщина присела на свободное сидение. Достала очки и книгу, стала читать, потихоньку задремала. Резкий толчок, и книга выпала из рук. Она вздрогнула, и хотела поймать, но сосед успел подхватить книгу и вежливо отдал. Она поблагодарила кивком головы. Сосед, извиняясь, спросил, что за книга? Приятная на вид, интеллигентная женщина ответила.

— Это старинный подарок одного старого музыканта. Я жила в детстве у дяди на даче, и он к нам часто приходил. Дядя очень любил его игру на скрипке и часто приглашал. У него был удивительный по красоте звук. Что-то небесное, — соседка понемногу разговаривалась. — Он мне подарил книгу за то, что с таким вниманием я его слушала, а дядя плакал. Потом они пили чай до рассвета, я уже спала. Мы так к нему привыкли, как родному. Дядя любил его

спрашивать о скрипке: из какого дерева сделан инструмент и какие струны. Однажды музыкант пришёл очень расстроенный, без скрипки. Не может найти струну в магазине.

— Что, она струна особенная?

— Да, — сказал скрипач, — она серебряная. Её очень трудно найти.

— Ну, мне пора, — сказала милая старушка и поторопилась к выходу.

Вспоминаю этот малозначительный эпизод. Он тронул в моём сознании то глубокое и неизведанное чувство, которое раскрывает родной звук в интуитивном переживании, идущий от самой природы русского севера, от русского чувствования музыки. Серебряная струна и прекрасный звук... Столько времени прошло, и, наверно, с этим чувством жила эта женщина. С какой любовью вспоминала игру на скрипке и серебряную струну... В моём сознании звучали её слова.

— У этой струны был удивительный по чистоте и красоте звук, дающий небесной чистоты настроение.

Да, да, эта серебряная струна. Да, да, эта струна запала в моё сознание так крепко и надолго, что как будто стала какой-то частью моего сознания и любопытства. Любопытство ещё с древних времён было движением любого прогресса. Моё внимание привлекло слово серебряная. На Руси серебро ценилось очень высоко. А в музыке добиться серебра в звучании очень не просто. Это всё от души. То ли серебро в игре музыканта небесной чистоты завораживает, то ли душа скрипки серебром поёт.

Серебряная струна, как невидимая нить, от души к другой тянется. На ней и слово Божье светится. Потому и природа в серебро одевается и снимает душевные тягости, когда с ней общаешься зимой. А зима-то длинная, и вот, в серебре и купаешься. Чистит она душу. Вычищает для будущего просветления.



ЭКСПРОМТ НА ДАЧЕ

В Переделкино, в тихом живописном месте, недалеко от Москвы, где находились знаменитые писательские дачи, иногда можно встретить фанатов в глубоком обожании своих кумиров. Фанатов, судорожно теряющих свои головы, театрально закатывая глаза к небу и ломая пальцы до хруста от ещё не написанных рукой гения вдохновенных поэтических строк. Страдающих своим неизлечимым пороком пристрастия к тайной жизни литературных жрецов. Но, как преданные стражи, они охраняют покой и творческое вдохновение. От кого бы, знаете? От незваных, назойливых и очень шустрых литературных конкурентов, страдающих теми же недугами, что и они. Но у высоких мужей, прибывающих к литературным небожителям в Переделкино, своя особенность — счастливый случай быть с известным грандом поэзии или прозы, быть причастным к литературной славе и ощутить пафос и наслаждение. А так же вызывающе, не торопясь, проплыть среди гостей, свысока сверкая лёгким прищуром глаз, грациозно филируя с ним на столичном банкете, по случаю государственного праздника, обрекая всех на сладострастное обожание и долгие пересуды. Больше всего здесь, в Богом поцелованном месте, отгуливал простой народ, с естественной потребностью доморощенного любопытства и жадностью впитать в

райской тишине среди корабельных сосен и творческих дач, минуты блаженства и высокой поэзии великих романов. И вот, глядишь, заезжий фанат литературных кумиров, вдохнувший в Переделкино поэтического воздуха, не торопясь и вдохновенно небрежным движением руки, изящно поигрывая своими тонкими пальчиками, в позе известного поэта, читающего поэму «Руслан и Людмила», уже расписывает родным и близким друзьям картину своего исторического пребывания в литературной Мекке. Лучше помнил бы картину Репина «Не ждали». Ну, а если повезёт, то и случайному ротозею посчастливится с таким встретиться. И какую только глупость и изошрённую сладкую ложь, и ещё чего-то из ряда вон выходящего со сверканием красноречия почитателю из российской глубинки ни вывалит на его бедную голову, лишь бы он восхищённо его слушал, как римского оратора. При этом бы он с желанием кивал головой с блеском ранней лысины, умилённо разглядывал бы его, как некий бриллиант, стараясь скрыть, разъедающую грудь зависть, а то и непреодолимую ненависть. Что и говорить, в этом есть и своя удивительная притягательность знаменитого и уютного Переделкино.

Мне, как носителю другого жанра искусств, не доводилось бывать в этих литературных куцах. Но так сложилось, что меня туда привела песня «Птицы Русские», написанная на стихи замечательного поэта Константина Сырцова, которую впервые услышал по радио, в прекрасном исполнении композитора Анатолия Днестрова. Мой приезд на дачу известного поэта был скромным и простым, без оханья и аханья по поводу заезжего музыканта, и радостного плача соседей, которые давно уже не живут здесь, а творят за рубежом. Без бросанья вверх шляп и чепчиков, любопытствующих и праздношатающихся людей с возможностью потолкаться и прижаться друг другу. Без всепроникающих взглядов ОМОНа и рамок металлоискателей и сующих нос во все дыры тренированных собак. Без коробейников и духового оркестра. Всего этого не было. Единственно, что ласковым лаем встретила небольшая милая собачка и почему-то из конуры. По характерному тембру лая доносившего из скромного жилища, мне было трудно определить её породу. Хотя я шибко не расстраивался, поскольку в них всё равно не разбираюсь. После радостного лая из конуры, я торжественно попал в дом творца. Константин, добродушный и хлебосольный хозяин, встретил

по-уральски, как положено, по-свойски, с чувством юмора. Оказалось, что мы земляки. Ну тут, как говорят на Урале, лучше друга из Златоуста не найдёшь. В общем, сошлись. Полились стихи, замечательные. Об Урале, о России. По домашней традиции перешли на небольшую полянку около дома. Под развесистой елью дышал приятным охотничьим дымком весёлый костерок. Неподалёку темнелась недавно выстроенная баня, на которой позднее появились две тени, которые то сливались в одну кучу, то неожиданно резко выпрямлялись, образовав фигуру с руками, напоминающую индийского Шиву. Дачная тишина мужественно вздрагивала от углублённого чтения стихов под густой разлапистой елью, и фигура с четырьмя руками, напоминающая Шиву, на свежесрубленной бане при свете костерка начала трястись, приплясывая цыганочку. Какой замечательный длинный изматывающий поэтическими страданиями вечер! Тамара, супруга поэта, спокойная и заботливая женщина, обладающая незаурядным терпением и талантом, тепло смотрела на трудовые народные посиделки, которые пылали до последнего уголька. Любимая собачка Константина так стала поддерживать творческий порыв хозяина, что вошла в образ и решительно заголосила лунную песню о далёких предках. Дачный посёлок немедленно подхватил её песню — и надолго окрасился разношёрстными собачьими радостными голосами.

Однако, насытившись поэзией, нам захотелось чего-то новенького, свеженького и оригинального. Я в своё время неплохо владел гитарой и когда-то радовал своих пацанов во дворе. В шестидесятых годах был популярен рок-н-ролл, и молодёжь с удовольствием осваивала запрещённую музыку. С тех времён в памяти осталось у меня импровизация «капиталистической» музыки, которую я когда-то играл на гитаре с молодецким задором. Раньше, заходя в дом, я заметил взглядом залётного гастролёра в чуть приоткрытую дверь, что на диване в небольшой соседней комнате лежала старенькая семиструнная гитара. Я неожиданно для себя решил сделать музыкальный экспромт, исполнить рок-н-рольчик. Взял гитару и начал играть с раскачкой. Увлёкшись, уже ничего не замечал. Ни хозяйку, которая, удивляясь, тихо присела на диванчик. Ни собачку, которая выскочила из конуры и с любопытством совала нос в приоткрытую дверь. Ни Константина, который изображал движения Элвиса

Пресли, я отдался целиком музыкальной стихии. Он был удивлён, что его старенькая гитара так виртуозно играла. Чувствовала, что эту музыку он знает: ритмично под неё танцевал.

Всё бы ничего. Но на утро было чудо. Сквозь сон слышу: что-то и где-то играет. После праздников и дружеских встреч у близких по духу коллег иногда в голове бывает: где-то поёт вечерняя музыка. Но тут я был вынужден проснуться, встать и пойти на захватившую меня музыку. Спускаюсь в комнату, откуда доносилась знакомая захватывающая ритмичная мелодия. Протирая заспанные глаза, вижу: посредине комнаты стоит спиной ко мне Константин, при этом повернул голову в мою сторону, хитро улыбался, согнувшись, в позе уральского охотника, который держит, как ружьё, вчерашнюю гитару и яростно играет на ней правой рукой. Меня как молнией ударило и встряхнуло. Когда он успел научиться так играть на гитаре? Стоя ко мне спиной, он продолжал играть и жутко, как бы мне на зло, улыбался. Делал он с такой лёгкостью и отдачей, при этом ритмично пританцовывая, что я не смог справиться со страшной мыслью, что мне... что мне надо годы тренироваться, чтобы так играть на гитаре. Он играл как злой гений, которому в одну ночь каким-то чудесным образом пришло искусство владения инструментом. Эти молниеносные мысли меня источили за какие-то минуты от крайнего восторга до недоумения и растерянности. Ну, думаю, ну и талантище Костя, ну и сукин сын Сырцов. Кудесник и только. Перед моими глазами пролетело всё моё раннее исполнительское творчество, настойчиво продолжая сверлить меня дрелью сумасшедшая мысль: «Где же я засиделся, что не смог поймать свою птицу? ...»

Неподалёку стояла Тамара и загадочно улыбалась. В эти минуты я ничего не понимал. Меня несло куда-то... и я тихонько поплыл, теряя опору... Костя, увидев меня растерянного, подавленного и ничего не понимающего, продолжал играть, танцуя под ритм музыки... Неожиданно на высоком нерве она закончилась, и он повернулся ко мне всем телом вместе со злополучной гитарой. Я к тому времени её уже ненавидел. О, Боже! Костя меня переиграл, играя мой вчерашний рок-н-рольчик и так великолепно, что я гитаре не простил. Я уже сломался и покорно ждал очередного поражения. Ну, думаю, Костя ещё что-нибудь придумает. Может, он ещё что-то мощное ударное исполнит — и это меня совсем добьёт. И как я

поеду обратно домой? Стыдобище. Вот и общайся с ними... Переигрывает по всем статьям... Поэты — великие таланты и выдумщики. Костя чувствует, что я уже совсем сник и не смотрю на него, а вроде бы остановиться не может. Взгляд его неожиданно подобрел, он ласковыми глазами на меня посмотрел. О, Боже! Тут я заметил, что у него на шее висел маленький магнитофончик, который не мог остановиться и продолжал играть вчерашний рок-н-рольчик с такой же яростью, как и вчера. Вот так Костя, вот так сукин сын Сырцов, как чертовски талантливо разыграл меня!..

СТАТЬИ





ИСТОРИЯ ОДНОГО ИНСТРУМЕНТА

История музыкального инструмента — русской балалайки — древняя, запутанная, даже загадочная. Точных и аргументированных источников её рождения практически нет. Это как Ветхий и Новый Заветы, где учёные спорят, доказывают и понемногу открывают завесу прошлого. Надо рассматривать сам инструмент, который расскажет о своём прошлом, настоящем и будущем. Самые ранние исторические источники указывают, что о появлении балалайки было известно ещё со времён скифов. А откуда инструмент появился у них, об этом можно только догадываться.

Некоторые, так называемые, исследователи нашей истории и культуры пытаются доказать, что инструмент произошёл от европейской лютни или от среднеазиатского комуза, пришедшего туда с Ближнего Востока. В России инструмент стал называться балалайкой и был, со слов этих исследователей, более примитивным. И здесь надо подумать, а так ли это на самом деле?

В русской истории и культуре есть множество примеров гениальных творений народа, которые дали миру множество открытий во всех сферах жизнедеятельности человека. Это на долгие времена определило развитие мирового общества. Однако плутание некоторых прозападных исследователей по нашей истории, культуре и духовности несёт некую определённую задачу. Да разве можно закрыть холёной ладонью огромную территорию нашей страны, с

одиннадцатичасовыми поясами времени и живущим и любящим свою Родину народом, который по доброй воле складывал многонациональную культуру? Не это ли доказательство мирного приращения не только азиатскими, но и североамериканскими землями? И не надо, изящно намекая, говорить, что этот примитивный, убогий трехструнный инструмент — дитя народа, имеющего низкий, а то и наиболее сомнительный уровень духовного развития. Наверно, им недоступен творческий гений нашего народа или он им не нужен вообще, либо имеется ещё какой-то потаённый умысел. История доказывает, что, развивая и сохраняя собственную уникальную культуру, народ приобретает твердость духа и стойкость в преодолении исторических катаклизмов. Русская балалайка, как и создавший её народ, тоже переживала периоды смутного времени, забвение и расцвет в блистательные годы государства российского. Из русского народа появлялись талантливые музыканты, которые вкладывали в балалайку свою душу. Имена их, в большинстве случаев, неизвестны, но инструмент живёт и приносит радость. В те далёкие времена, когда правили цари, популярность народных инструментов была огромной. Народ любил петь и играть, а скоморохи под сопровождение гуслей, домр и балалаек высмеивали бояр и царское окружение. Потому царь Алексей Михайлович был вынужден приказать собрать огромные обозы с инструментами, вывести на Москву-реку и сжечь. Да, и такое бывало. Но с появлением русского гения В.В. Андреева — создателя современной балалайки и оркестра русских народных инструментов, показавшего всему миру уникальность балалайки раскрывать не только душу русского народа, но и душу других народов, инструмент получил любовь и всемирное признание. А триумфальные гастроли Великорусского оркестра народных инструментов в Европе и Америке положило начало огромной популярности во всём мире. После выступлений оркестра русских народных инструментов восхищенными любителями игры на балалайке повсюду создавались музыкальные кружки и оркестры. И даже в экзотических странах, таких как Бразилия и Япония, были созданы оркестры русских народных инструментов, которые, кстати, существуют и в настоящее время. За рубежом интерес к «незатейливому» инструменту, как пытаются представить нам его некоторые «деятели» культурного наследия России, не только не угас, но и возрастает.

Как одна из вершин инструментального народного творчества, балалайка постоянно развивающийся инструмент. Поэтому исполнителей и слушателей ждёт ещё много открытий.

Но не всегда современники могут тонко почувствовать и уловить развитие инструмента талантливыми музыкантами, которые своим выдающимся исполнительским мастерством и фанатичной преданностью создают новые достижения в игре на балалайке. Как известно, инструмент имеет большое разнообразие способов звукоизвлечения. Подчеркивая специфику русской балалайки, отметим её уникальность в средствах выражения художественных образов. Многоголосное полифоническое звучание, длительное по времени колебание трёх струн, осуществляемое приёмом тремоло, словно кисть художника, обогащает главную мысль различными оттенками красок на холсте. Это, как ничто другое, придаёт игре национальную самобытность. А что ещё даёт национальную самобытность? Конечно же, это музыкальный строй балалайки. Как говорят в народе:

— Эх, настрой балалаечку, чтоб душа запела!

В.В. Андреев гениально почувствовал музыкальный строй инструмента на основе глубокого проникновения в самобытность и тональность звучания русской души, с её величайшим разнообразием. Шестиструнная испанская гитара, изменившая в России музыкальный строй и ставшая семиструнной, получила широкое распространение в середине XIX века. То же было и с гармоникой из Германии. Но балалайка родилась в народе, в гуще его, в любви и радости. Это глубинное состояние, и оно наиболее ярко выражает душу русскую народа.

Игра музыканта — это особый вдохновенный настрой исполнителя, требующего творческого подхода, а разнообразие различных приёмов звукоизвлечения — как открытая дверь в прекрасный мир звуков и образов, который составляет пространство человеческого общения, наполняя души интеллектом, неподвластным разрушению. Как известно, человек един с природой и космосом. Это его физическое состояние, тесно связанное с колебанием разных волн. Волновое звуковое пространство несёт интеллектуальное начало, духовное и по своему звуковому колебанию. Приёмом бряцания музыкант извлекает звук, близкий сердечному ритму, что совпадает

с волной космоса. Звенит струна — в этом есть глубокий смысл. В слове «звенит» слышится звон. В нём заложена энергия интеллектуального звукового взрыва, но почему всё-таки волнуют три струны? Наверное, слово «волнует» связано со словом волна. Струна передаёт волну звука, которая идёт от источника к резонатору, сталкиваясь, насыщая волну интеллектуальной информацией. Это закон звучания любого струнного инструмента. Звук, издаваемый струной, обладает колоссальной силой воздействия вне зависимости от нашего сознания. Человеческий организм охраняет психику от волнового пространства с разрушительным воздействием звука. Есть ещё волновое пространство души, которое наполнено интеллектом, особой энергией развитой личности. Звук способен нести волновую память, воздействуя на интеллект, в ней заложена вся эволюция развития не только личности, не только целого народа, но и всей цивилизации. Русский фольклор и народные песни обладают сильной и глубокой волновой памятью и волновым пространством, которое человек способен уловить: волновое пространство души. Обладая развитым интеллектом и утончённой психикой, более чутко можно уловить волновое пространство. А если рассматривать звук как взрыв, то он многообразен по соединению многих и разных сопутствующих обертоновых компонентов. Самое удивительное, что не только колокол, но и струна обладает не меньшей силой взрыва и распространения в волновом пространстве, вызывающих разные по величине, силе и чувственности — состояния в волновом пространстве души. Это как космос с его миром жизни. На волновом пространстве балалайка — как передатчик физического состояния звука в интеллектуальное. Звукоизвлечение на балалайке — основной источник звуковых взрывов. Разный по характеру звук несёт информацию подсознанию, выбирая свою волновую плоскость. Этот процесс уникален, потому как только совпадение этих факторов несёт эмоциональную нагрузку информационного поля. Как говорится, задача здесь непростая.

Но вернёмся к истории инструмента. В простоте его изготовления есть плод многочисленных поисков форм. Был он и круглый, и полукруглый, и овальный. Но только треугольная форма, как соединение трёх начал, наиболее ярко выразило необходимую потребность изъяснения русской души. Великий В.В. Андреев подытожил

и создал классическую форму инструмента в конце XIX века. Исполнительское мастерство игры на балалайке развивалось в творчестве сподвижников и продолжателей В.В. Андреева. Его соратник и блестящий балалаечник-виртуоз Б. Трояновский придал искрометность русским наигрышам и плясовым, напевность русским лирическим песням, наполняя их особой есенинской любовью к простой русской земле. В советские годы появились яркие исполнители на балалайке: Б. Осипов, П. Нечепоренко, Б. Авксентьев, Е. Блинов, Б. Феоктистов, М. Рожков. Это дало новый, высокотехнологический этап развитию инструмента. Появились разные школы игры на балалайке: московская, ленинградская, уральская. Расширился диапазон репертуара, от русских песен до произведений мировой классики. Но, к сожалению, это уводило большинство музыкантов от истоков русской музыки. Особый подъём был связан с послевоенным периодом. Выдающийся композитор Н. Будашкин на основе русской мелодики и интонации создал шедевры балалаечного репертуара. Это вызвало ещё большее притяжение к инструменту молодёжи.

Но пришло другое время, и, в связи с всеобщей американизацией, инструмент снова перешёл в оборону. Но это временная ситуация. Поэтому возвращение к национальным истокам, к русской музыке, культуре, песне, поможет осилить надвигающуюся нравственную пропасть. Так бывало в истории не раз. Сила взрыва фольклорной памяти с высоким нравственным началом даст новое, более серьёзное развитие народной мудрости и защиты духовности. И на этом история одного инструмента не закончится...



ТЕ ЛИ МЫ ЦВЕТЫ...

Хочется сказать несколько слов о народной музыке. Время непростое и трудное. Но всё-таки светлое. Пишу эти строки в светлый праздник Сретенья Господня. Встречается ли наш народ со своей культурой в настоящее время и каков уровень их общения? И много ли видим мы ярких и талантливых явлений, которые обретут ценность в русской культуре на долгие годы? И как они будут влиять на развитие духовности в будущем? Состоится ли эта встреча? Думаю, что да. Это от уверенности, что наш народ ещё крепок и мудр, его глубокая история и православная культура не раз спасали нашу страну от духовного и физического истощения. А вот до светлой встречи сегодня дойти нелегко. Очень уж много по дороге к ней всяких подлых хитросплетений. Подчас коварных и неуловимых, в которых трудно понять истинные замыслы «тroyанского коня», десант из которого сытостью и фальшивым блеском разлагает душу русских людей отравленными идеалами о благе. Те ли цветы мы кладём под утраченные идеалы, на которых крепла вера и духовность? Ту ли радость мы испытываем, обретая свободу материальных благ? И какая культура нас обогревает, уродуя национальное восприятие божественных истин? Думаю, что здесь надо молитвенно осознать ту духовную катастрофу личности и общественного сознания, которая на нас обрушилась, которая высве-

чивается из разных углов, заливая духовное пространство нашей страны брызгами алкоголя, одурманивая наркотиками, пошлостью и развратом, которая исповедует наглость и продажность. Больно осознавать, что она добилась больших разрушительных успехов в игрищах над умами молодых. Происходит насильственный отрыв от детских ангельских восприятий мира, которые впитываются с молоком матери. Демократия старательно отрывает нас от русской песни, в которой содержится любовь Божья, идущая от света и радости и великой памяти предков. Никакими супер-технологиями не измерить и не создать повторение божественного. Песня, этот младенец с глазами мудреца, вглядывается в глубокое прошлое с большой надеждой на будущее. Не это ли высокое проявление божественного? А через звуки русской колыбели пестуется познание мира, рисуя в маленькой душе небесные картины радости. Под звуки балалайки растёт духовная крепость. Не от чистой ли и светлой души, которая сохранялась всю жизнь, родились великие песни и великие музыкальные инструменты русского народа? В этом убеждает сама жизнь. Мои поездки по России свидетельствуют об устойчивости национальной культуры. Хотя она сильно пострадала от силового давления зарубежной медиа-культуры. И, слава Богу, что это ещё не самое дно, куда насильственно затаскивают национальную душу, где исчезают божьи истины и заповеди и где зарождается проклятье человечества. Народная вера в свои духовные идеалы — серьёзная защита от посягательств. И слушая русские песни и звуки родного инструмента, убеждаешься, что это мощная духовная крепость, которая спасает от катастрофы как физической, так и от духовной. Весь вопрос заключается в возможности исторического преодоления реки забвения и угасания. Испить родниковой воды православной веры и вкусить радость многонациональной культуры, не это ли опора духа.

Встречи со зрителями, как проявление тончайшей духовной связи, которая наполняет пространство общения родными и любимыми мелодиями, не только дают почувствовать человеку истинную радость, но и возможность познать себя и окрепнуть для преодоления духовного одичания, окунуться в утренний чистый воздух родного леса. Испытать сладостный трепет отеческого дома, как бы сесть на родительскую скамейку. Увидеть через окно цве-



тущий луг со свежим сеном, лужайку с ягнёнком и покосившуюся баню. Не здесь ли рождаются песня и музыка... Это те цветы памяти, которые мы кладём родителям... Талантливые музыканты, впитывающие многогранную жизнь народа, оберегают её, сердцем и душой защищая нравственный дух русской культуры. Музыка по силе влияния успешно побеждает. Она продолжает мысль слова. Она ведаёт словом. И создаёт полный образ бытия. Всё это видно в общении со зрителями. Особенно когда после выступления видишь перед собой светлые и чистые глаза, ощущаешь радость душевного очищения. В глазах этих читаешь не измученного бытием человека, а личность, преодолевающую внутреннюю безысходность, обретшую надежду и веру в свои силы. Не это ли очищение души, без которой не может быть будущего? Это те цветы, которые мы кладём во славу просветлённой души... Недаром же исповедальность в музыке Чайковского и других великих русских классиков принадлежит к высочайшему состоянию покаяния, открывает дорогу любви к Богу. Слушая её, внутренне исповедуешься. Она божественна, она слаще земной радости.

Балалайка по-крестьянски слышит пространство России, и её неповторимый голос заставляет очнуться и вспомнить свою историческую родину, тихую деревню, в которой сердцем бьётся жизнь самой России. Балалайка — любимый народный инструмент, подерживая русскую песню, сохраняет глубокий образ русской жизни. Редко услышишь звуки этого инструмента по радио. Но её душа живёт. Удивительное дело, когда в глубинке звучат народные напевы на струнах балалайки, всё вокруг превращается в свежую атмосферу народного единения и радости. Сколько раз видел это в Кемерово, в Кузбассе, в приполярном Норильске и в тёплом Таганроге. И не только в России, но и в Болгарии, в Сербии, в Греции. А как тонко чувствуют балалайку японцы! Хотя порой не каждый поднимается до понимания музыки, идущей из трёх струн, как бы наполненных душой народа.

Хочу вспомнить одну из многих поездок в Японию. Как после концерта в пригороде города Нагойя, где мы с Евгением отыграли два отделения, к нам подошла пожилая японка с маленьким внуком. Она очень просила исполнить русскую народную песню «Вот мчится тройка удалая». Мы, конечно, согласились. Пока мы игра-

ли, она держала руку внука и ему что-то рассказывала. Я обратил внимание на её лицо. Она порозовела и помолодела, у неё неожиданно выступили слёзы. Она волновалась так, будто переживала очень дорогие минуты своей жизни. К концу мелодии она уже не стеснялась и вытирала слёзы платочком, при этом тихо на ухо что-то шептала внуку. Меня это заинтересовало. Я решил спросить у переводчицы, которая была с нами. Она слышала, о чём говорила японка. Меня потрясло то, о чём она нам поведала. Оказывается, японка рассказывала о дедушке, который был в плену во время войны. Он находился в лагерях в Сибири около города Иркутска. И что самое интересное, что они жили в бараках и приходили с работы поздно ночью. Уставшие и измотанные, они лежали на нарах и пели русские песни. Кое-кто из тех, кто не пел русские песни, не выжили. А кто пел, те остались живыми! Особенно была любимая песня «Вот мчится тройка удалая». Японка приезжала к мужу после войны, когда его амнистировали. Пока ехали домой в Японию, пели эту «русскую тройку». Это чудо, которое свершается соприкосновением с русскими песнями. Пожилая японка ещё со слезами на глазах немного постояла около нас, потом по-японски поблагодарила и ушла, крепко держа маленького мальчика. Эта встреча была неожиданной, и меня она потрясла. Даже врагам наши песни помогают преодолеть тяжёлые невзгоды. Здесь есть о чём задуматься.

Есть ли у нас желание вместе с детьми побывать на концерте русских музыкантов? Не является ли препятствием наша душевная пассивность, которая уничтожает желание защитить не только себя, но всё наше духовное пространство? Не теряем ли мы важное чувство соборной радости общения как основу русской жизни? Побывав практически во всех уголках этой удивительной страны Японии, мы везде встречали уважительное отношение к русской песне, а уж к балалайке — особенное. Такую любовь, пожалуй, и в России не встретишь. В чём загадка этого явления? Мне, кажется, что они достигли глубокого понимания нашей культуры, расшифровали и пополняют что-то важное, недостающее в сосуд своей национальной культуры. Мне пришлось наблюдать, как они сами, и с какой любовью, стараются тоже играть на балалайке. Нет ни тени вульгарного подражательства, ни надругательства, ни кривляния во время игры, изображая пьяного медведя, что характерно для некоторых

западных исполнителей, унижающих нашу культуру. А сколько искренности и уважения они даруют нашему инструменту. Играя на нём, словно нежно осыпают окружающее цветами сакуры. В этом национальная культура Японии, которую преданно любят. С таким же трепетом они относятся и к русской культуре. Нам стоит только позавидовать... Но не всё потеряно. На Северном Урале я испытал нечто подобное, глядя на мальчишек, которые бежали за машиной, которая увозила артистов после концерта. Машина медленно двигалась по каменной дороге. И долго дети с улыбками махали руками, бежали рядом. Кричали, мол, приезжайте ещё, нам плохо без вас. И сколько света было в их лицах. Они пели песни и изображали игру на балалайке с каким-то особым восторгом. Мне подумалось, что этот край ещё не захлестнул мутный поток чуждой цивилизации. И это надежда на выживание. Только чистые помыслы и искренняя любовь делают поистине чудеса игры на инструменте, мелодиями которого в наше непростое время удаётся не только сохранить это уникальное искусство, но и обогатить его. Это есть те цветы, которые мы храним в своей памяти.

«Вот услышала балалайку-то, — тихо сказала старушка как-то после концерта в далёкой сибирской деревне, которая ещё царя помнила. — Словно с детством повидалась и родителей помянула, и душе легче стало»...

Без трепета в душе эти слова не услышишь. Какие глубокие чувства они отражают! Это и есть цветы любви к своей национальной русской культуре.

Юрий Клепалов

ЕЩЁ НЕ ОТШЕЛЕСТЕЛИ ЛИСТЬЯ...

Редактор П.И. Ветринский

Корректор Е.И. Горбунова

Подписано в печать 15.12.2019.
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Minion Pro».
Объем 9 печ. л.
Тираж 500 экз.
Заказ №122.

Отпечатано в ООО «ИЦ «Содействие»
141300, г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, 17
Контакты: +7 926 218 62 41 Евгений Юрьевич



Юрий Клепалов в современной отечественной литературе совершенно «молодой» автор, но, несмотря на это, его рассказы представляют определенный интерес и на них стоит обратить внимание. Почти все они переносят читателя в тот далекий послевоенный период или во время так называемого советского «застоя», который сегодня многие из читателей, причем совершенно справедливо, вспоминают с чувством лёгкой ностальгии. Автор предлагает вспомнить нормальные теплые человеческие отношения, бескорыстное и незатейливое общение между людьми в те годы, и, конечно же, простой, естественный, обычный разговорный язык, который собственно и звучал тогда на больших территориях нашей страны.

Что касается самого автора, то он ровесник героев своих рассказов, родился на острове Сахалин спустя два года после победы над милитаристской Японией. Закончив Уральскую государственную консерваторию по классу балалайки, музыкант прошел большой и достаточно успешный творческий путь, отмечен государственными наградами и званиями. Его концерты интенсивно проходили во многих странах мира, где есть интерес к русскому инструментальному искусству, но, к счастью, рассказы его, где одним из героев является балалайка, связаны именно с нашей землей, с нашей культурой и с нашим народом. Если говорить искренне, есть полное ощущение, что среди героев рассказов находится и сам автор, он, то играет, то слушает, общается и просто живет среди них. Давайте вместе узнаем, так ли это.

